Сквозь сеточку шляпы (сборник)

Автор:
Дина Рубина

Сквозь сеточку шляпы (сборник)

Дина Ильинична Рубина

Малая проза (Эксмо)

В 2004–2005 годах Дина Рубина много путешествует. Результат этого – многочисленные рассказы, путевые очерки, повести. Гений места и талант писателя соединяются в них в таком дивном единстве, что перед нами возникает та редкая и в большинстве случаев невозможная слитность душ, результатом которой всегда является рождение. Рождение новой точки на карте мира, рождение новой эмоции в пространстве души, рождение нового географического наименования в литературе. Пожалуй, в отечественной словесности нет равных Дине Рубиной по мастерству поэтических формул городов, местечек, стран, национальных языков: голландский – «отрывистые, рубленые звуки – хруст корабельных мачт, стук топоров, харканье усталых плотников», немецкий – «мягкий, полнозвучный, рокочущий – то остроконечный и шпилевый, то оплетающий язык серпантином, то убегающий в перспективу, то закругленный и вьющийся, как локон, – целый рой порхающих бабочек в гортани! – великолепно оркестрованный язык».

Дина Рубина

Сквозь сеточку шляпы (сборник)

© Рубина Д., 2017

© Николаева Ю., иллюстрация на переплете, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Предисловие

Принято говорить, что каждый город – во всяком случае, тот, чье имя на слуху у человека любой государственной принадлежности, – имеет свой неповторимый характер, душу и язык, на котором он обращается к приезжим и к своим обитателям. То есть то, что еще в древности называлось «гением места».

Об этом самом «гении места», а иными словами, духе, душе города написано множество книг, которые все равно ничего толком не объясняют, ибо обращены к любознательности путешественника; а любознательность питается фактами и датами, а отнюдь не розовым отблеском утреннего света, что скользит по головам почерневших от времени статуй Карлова моста.

Я же всю жизнь гоняюсь именно за этим: за шелестом мокрых деревьев, за утренним говорком неизвестной местной птички, за непривычной кладкой булыжников на крошечной площади… за грустноватым выражением слуховых оконец где-нибудь в старых приземистых домах Малой страны.

Исходя из этих моих предпочтений, а также из суммы добытых, застигнутых, извлеченных из воздуха и окрестного пространства невесомых трофеев, годных разве что для литературы, Прага – или, что одно и то же, ее душа – отзывается моей душе гораздо теплее, ярче, нежнее, чем остальные города (за исключением, конечно, Иерусалима; но у этого места не одна, а сразу несколько огнедышащих душ, – как голов у дракона, и точно так же, как у дракона, на месте срубленной жадно вырастает другая).

Я полагаю, об этом дуэте, об упоительном и всегда индивидуальном танце великой души города с частной и преходящей душой человека только и стоит писать, если берешься описывать перемещения в пространстве.

Многое в этом решает личность художника, писателя, философа – род занятий не важен, важна скорее судьбинная глубина, – с именем которого связано и имя города. Чаще всего эта связь является нам в коммерческой суете и расхожих символах вроде облика Франца Кафки на футболках, чашках и брелоках… Это – оборотная сторона подлинной славы: то, что Франц Кафка родился и жил в Праге, знает и тот, кто романов его не читал и прочесть не в состоянии.

Отправляясь в Прагу, ты готов к мельтешению этих торговых марок.

Но есть иные встречи, удивительные, будто подстроенные судьбой: так я с томиком писем Ван-Гога оказалась на вилле в Сен-Дени, маленьком городке в Провансе, рядом с психиатрической лечебницей, где закончил свои дни великий художник. И вот тут уже ты, с изрядной долей страха, ощущаешь диалог не с местностью, а с куда более ирреальными силами.

Камертоном настроения любой «новеллы странствий» служит, как правило, какая-либо сцена, часто неожиданная, наблюдать которую тебе случайно привелось. Так, исходив Прагу, вдоволь напитавшись красотой ее фасадов и крыш, заполнив несколько блокнотов, писать о ней всерьез я захотела лишь после того, как увидела на Карловом мосту небольшую толпу слушателей заурядного джаз-банда; лицо одной пожилой, мечтательно зажмурившейся туристки и тихое покачивание ее в такт музыке послужило тем толчком, тем внутренним импульсом, которого всегда ждет писатель, приступая к работе.

И еще в моих путешествиях есть одна особенность: тогда, когда поездка предусматривает «разведку боем», то есть подготовку к написанию книги, – провидение, или как там его назвать, мой литературный ангел, – короче, кто-то там по моей профессиональной части – всегда посылает мне в помощь достойного проводника. Не могу забыть, как, составив маршрут по Испании и уже заказав билеты, я вдруг поняла, что эта туристическая, по сути, поездка ничем мне помочь не сможет. Ведь испанцы, в отличие от многих прочих европейских народов, по-английски почти не говорят. И значит, уготована мне участь обычного туриста, которому страна открывается исключительно глянцевой стороной путеводителей.

И вдруг – за два дня до отъезда – получаю письмо на адрес своего сайта. Письмо женщины, полуиспанки, полурусской, родившейся в Москве, которую мать и бабушка увезли после окончания школы в Севилью, где она и живет до сих пор. Она писала по прочтении одного из моих романов; приглашала приехать, уверяла, что если когда-нибудь мне захочется побывать в Испании… что если когда-нибудь приведет судьба…

«Дорогая Лола! – написала я ей в ответ, – в Испанию меня приведет судьба послезавтра…»

И милая Лола приехала из Севильи к нам в Кордову, и мы провели вместе замечательный день, а потом еще год переписывались с ней, так что роман «Белая голубка Кордовы» своими реалиями сугубо частной испанской жизни – до которой очень редко добираются туристы – во многом обязан именно ей, Лоле Диас.

И наконец, самое главное, самое сокровенное: любое путешествие таит неожиданную встречу с соотечественниками, которых разметало по всему свету, за душой у которых обязательно есть новелла о жизни, о перенесенных трудностях, о победе над судьбой или о поражении. А иногда… иногда ты встречаешь настоящий перл уникального сюжета. И выслушав героя, и расставшись с ним, унося в блокнотике несколько заветных страниц для будущего рассказа, повести, новеллы, ты в очередной раз мысленно благодаришь провидение, литературного ангела, – короче, кого-то там по моей профессиональной части, – чье старательное воображение никогда не оскудевает, чьи усилия никогда не пропадают даром.

Дина Рубина

Рассказы

Иерусалимцы

Мне повезло – меня судили за писательство. За слишком удачное изображение одного из героев. Его все узнали, поднялся скандал… Мой адвокат приложил немало усилий, чтобы убедить меня написать предуведомление – из тех, знаете, трусливых книксенов обывателю: «Любое совпадение имен, ситуаций, фактов…» – в которых приседают те, кто послабее хребтом. Я отказалась, и суд был назначен. Редкому писателю привалит такое счастье на творческом пути.

После того как меня судили и оправдали, я собралась написать когда-нибудь абсолютно вымышленную, фантасмагорическую повесть с невероятными, никогда не существовавшими людьми, с коллизиями, в которых только сумасшедший увидит посягательство на окружающую жизнь. И предварить эту бесстыдную выдумку такими словами:

«Все имена героев и события этого романа подлинны и документальны.

Автор готов подписаться под каждым словом всех этих ублюдков, кретинов, мошенников и карьеристов.

Автор не боится судебного иска, тюрьмы, ножа и удавки, людской благодарности и адова пекла, потому что наша прекрасная жизнь и есть – адово пекло.

Автор ни черта не боится.

Автору наплевать».

И это была бы очень иерусалимская книжка.

Любой честный литератор относится к своей стране как к возлюбленной шлюхе, с которой нет сил расстаться. Я не исключение, но кроме всех других нелепых привязанностей у меня здесь есть Иерусалим.

Иногда вечером я выезжаю в центр Иерусалима… Еще не меркнет свет, но воздух уплотняется, а мерцающий мягкий известняк домов начинает отдавать жар дневного солнца… Свежеет… У меня поднимается вечно низкое давление, и

душа наполняется если не весельем, то, скажем так, оживлением…

Теплый весенний вечер в Иерусалиме, в районе Нахалат-Шива, на улице Йоэль Соломон…

Я выбираю где сесть – на крошечной площади, куда вынесены из траттории пять-шесть столов под клетчатыми красно-белыми скатертями, – сажусь лицом к проходящей публике, заказываю кофе или пива и смотрю…

Писатель всегда – джентльмен в поисках сюжета. Всегда гонишься за хвостом фразы, за вибрацией голоса, за интонацией – боли, нежности, счастья… Хватаешь это и – в карман. Пусть полежит, это товар не скоропортящийся. Наоборот, его полезно настаивать, как рябиновку.

…И вот небо над крышами старого дома напротив становится цвета яблочной кожуры; над коньком крыши всплывает – в зависимости от недели месяца – либо турецкая туфелька, либо полнолунный диск, либо обсосанный кусок колотого сахара… Потом небеса густеют и неудержимо сливаются с цветом синих железных ставней, а сам дом начинает светиться и таять, как кубик рафинада в стакане чая.

Зажигаются фонари, и в этом театрально-желтом свете передо мной туда-сюда шляются туристы, влюбленные парочки, несколько городских сумасшедших, знаменитый одноногий нищий на костыле по кличке Капитан Сильвер, чокнутый русский юморист Юлиан Безродный в майке и трусах, дети, наперсточники, чинные религиозные семьи, юные обалдуи и юркие карманники…

Если долго сидеть, то в какой-то момент начинает казаться, что ты присутствуешь на репетиции некой пьесы и придирчивый режиссер без конца гоняет по просцениуму одну и ту же массовку…

Вот плывет зеленая шляпка на даме по прозвищу Халхофа. Когда-то она подрабатывала экскурсоводом, водила туристов и, представляете, с этим своим акцентом рассказывала о распятии Иисуса: «Халхофа! О, Халхофа!»

– Мовсей, как вам известно, – говорила она, – был вхож на Синайскую хору к самому Хосподу Боху! Теперь на мноих объектах войти стоит денех, а в прошлом хаду я там хуляла безвозмездно… Круом были свежевырытые пространства. А

тепер, видите, – вокрух клумбы, клумбы… розы со всех кончиков нашего мира. Фонтанчики пока безмолвствуют…

– Израильтянам до нашей культуры еще срать и срать! – это уже реплика из другого летучего разговора – толпа несется дальше, дальше… Русская речь булькает, шкворчит и пенится на общей раскаленной сковороде.

– …Захожу в аптеку – обезболивающее купить. Она мне: «Молодой человек, вы говорите по-русски?» – «Да». – «Так перейдем на нормальный язык!»

Напротив, в витрине кафе-гриль, медленно крутится стеклянная этажерка. На каждой полочке этой кошмарной карусели, усевшись на гузку, свесив зажаренные пулочки и скрестив на грудке крылышки, в задумчивости кружатся обезглавленные куриные тушки.

Вот в одном из окон второго этажа показалась заплывшая бородатая рожа (скульптор или художник – вторые этажи здесь, как правило, снимает под мастерские эта публика), волосатая ручища, звякая браслетами, протянулась к синему железному ставню и невозмутимо прикрыла его.

Через минуту этот тип спускается вниз, покупает в лавке газету «Гаарец», заказывает чашечку кофе и, облокотившись на стойку, минут тридцать пьет ее, балагуря с хозяином (я не слышу слов, но вижу поминутный посверк белых зубов в рыжей чаще).

Веселый, бородатый, в шортах, с икрастыми курчаво-прокопченными ногами, он похож на проказливого второстепенного греческого бога, и кажется – только крылышек недостает его пыльным кибуцным сандалиям.

Вот ради этих считаных в году часов – прошу понять меня правильно – я здесь и живу…

Я наслаждаюсь. Потягивая пиво, неторопливо перебираю – как старый араб-торговец перебирает четки своими тусклыми сафьяновыми пальцами – скользящие за спину густые, тягучие, сдобренные тмином, кардамоном, корицей и ванилью минуты.

* * *

Многие из поклонников мною написанного люди не то чтобы сумасшедшие, но – с трудностями проживания в этом мире. Есть несколько неудачников-самоубийц. Время от времени (и довольно часто) кто-то из них мне звонит – посоветоваться насчет какой-нибудь очередной своей неудачи или просто пожаловаться на окружающий мир.

На днях часа полтора я говорила по телефону с одной молодой женщиной, которая когда-то кончала с собой, но выжила.

Не успела положить трубку – звонок. Губерман.

– Час не могу до тебя дозвониться!

– Я разговаривала с одной своей читательницей. Помнишь, с той, что выбрасывалась из окна.

– Скажи ей, чтоб никогда больше этого не делала, – заметил он устало. – Или пусть берет этажом выше.

* * *

Звонит юморист Юлиан Безродный:

– Я хочу подарить вам потрясающий сюжет для романа!

– Отчего бы вам самому не воспользоваться им, Юлиан?

– Я миниатюрист, как вы знаете. А это сюжет для грандиозного полотна. Да что там! – полагаю, вам этого на три романа хватит.

– Что же это за сюжет?

– История моей жизни!

– Понятно.

– Погодите!!! Что вы, собственно, обо мне знаете? Давайте встретимся, и вы будете потрясены!

После долгих препирательств я обреченно понимаю, что дешевле встретиться с этим милым, хотя и безумным человеком. Минут двадцать еще уходит на сварливое, даже скандальное выяснение, в порядке ли у меня диктофон и сколько кассет я должна приготовить для записи, – и на другой день мы уже сидим за столиком одного из баров на любимой мною улочке Йоэль Соломон. Я заказываю пиво и тост.

Юлиан долго проверяет мой диктофон, включает, выключает его, нажимая попеременно все кнопки. «Раз, раз… – настойчиво долдонит он, – раз, раз…»

Прокашливается, вслушивается в шелест бегущей пленки и наконец торжественно произносит:

– Самым счастливым днем в моей жизни был день, когда умер мой папа.

После этой фразы он умолкает и долго сидит, нахохлившись, ковыряя вилочкой скатерть.

– Это все? – наконец мягко спрашиваю я.

– Да, – говорит он. – Почему-то мне казалось, что я буду говорить долго, долго…

Я выключаю диктофон и пододвигаю к нему бокал.

– Пейте пиво, Юлиан, – говорю я ласково. – Вы действительно непревзойденный миниатюрист.

* * *

Звонит Губерман:

– А я вчера в суде был. Я ж два года без прав ездил. Просрочил и не заметил. Так вот, явились мы с Сашкой Окунем. Он подошел к бабе-прокурору. Она как увидела его – Сашка же у нас красавец, – рот раззявила и мгновенно была готова из прокуроров перейти в адвокаты и даже сесть на скамью подсудимых. Сашка кивнул на меня и сказал ей: «Посмотри на него, он поэт, у него голова в облаках».

Та взглянула на меня (а я только с самолета после российской поездки – рожа снулая, помятая) и говорит: «Вижу».

Он и к судье подкатывался с теми же баснями. Судья говорит: ладно, если признает свою вину, я не стану лишать его прав, ограничусь штрафом… Ну и присудил 180 шекелей.

– Совсем немного! – заметила я.

– О чем ты говоришь! Я готовился уплатить полторы тыщи… Теперь разницу пропью.

* * *

Что касается правоохранительных органов – в их коридорах можно встретить уже много наших. Причем как по эту, так и по ту сторону закона.

Миша, следователь Иерусалимского полицейского управления, приходит утром на работу. Перед дверью его кабинета сидит здоровенный мужик лет шестидесяти, рубаха расстегнута, на ней пятно крови. Вся волосатая грудь в расстегнутом вороте – синего цвета. То есть татуировка безгранична. Рядом с ним стоит девица лет двадцати с синяком под глазом.

– Вы – Миша? – спрашивает мужик. – Нам до вас.

– Миша! – говорит девица надрывно-плаксиво. – Посадите меня в тюрьму, Миша! Посадите меня в тюрьму!

Миша открывает дверь и приглашает в кабинет мужчину.

Тот садится в кресло удобно, крепко, раскидисто, кивает в сторону коридора и говорит:

– Во! Видал?.. Воспитываешь дочь, растишь ее, лелеешь… А она папу – ножиком!.. Нет, вы, Миша, не подумайте, она хорошая девочка, я ее очень люблю. Но мне ж обидно – что она витворает! Вчера привела козла вонючего… Мало что он ростом ниже ее, он еще и кавказец… Когда она за второй подушкой вышла, я просунул голову в дверь спальни, говорю ему: «Если ты кавказский человек, ты меня поймешь». Он говорит: «Борис Львович, я вас понял». И ушел.

А наутро мы с ней посмотрели сериал, я говорю: «Шо, доця, налей-ка нам по стакану…» Выпили мы с ней, она вдруг говорит: «Ну, и до каких пор ты будешь блюсти мою нравственность?» Я говорю: «Давай, доця, еще по стакану выпьем». Она выпила и забыла тему… И вроде все тихо стало, но тут она принялася мене из гостиной музыкой выживать: «А ну, говорит, старый пидорас, вали в свою комнату, я здесь буду магнитофон слушать».

И вот это, Миша, мене достало! Я ж в нее жизнь вкладывал, я ж!.. «Доця, – говорю, – слово сказано, надо за него ответить… Я, – говорю, – третий месяц здесь живу и хочу о своей стране новости слушать в гостиной, не таясь. Я хочу знать – шо в стране происходит…» Вот скажите, Миша, почему у женщины, которая нас записывала, три звездочки на погоне, а у вас только одна?

Миша объяснил, что это не звездочка, а листик дуба, объяснил, что это означает.

– Видите, все же знать надо… – удовлетворенно замечает мужчина.

Девица влетает в кабинет и с порога:

– Посадите меня в тюрьму, Миша, посадите меня, суку, в тюрьму! Я так переживаю, так переживаю, я так папу люблю!

– Любишь, что ж ты папу ножиком в живот пырнула?

Девица вдруг меняется в лице:

– Да?! А вот это видел?! – отводит длинные волосы с шеи, на которой обнажается синяя линия – стронгуляционный след.

Перемена декораций: выясняется, что папа душил ее проводом от магнитофона. («Ты у меня послушаешь музыку, щас ты у меня услышишь фанфары!») Когда, говорит она, все перед глазами поплыло и в ушах звон начался, она уцепилась за холодильник и наверху вдруг нащупала ножик…

– Да шо ему сделается! – плаксиво говорит она. – Вон он какой жирный, я ж ему только жир колупнула. Ничего с ним не станется!..

Крепко сбитая, смуглая, румяная, она чуть не прыскает вся от соков, в ней бродящих.

– А чего, – говорит, – он лезет в мою жизнь! Все гуляют! И я буду! Вон Райка с солдатом за мороженое переспала, и я буду!

* * *

Несколько особенностей отличают нашу страну от всех остальных. И главная – это резервистская служба мужчин на протяжении чуть ли не всей активной их гражданской жизни. Ты можешь быть врачом, ученым, музыкантом, бизнесменом – даже миллионером! – но раз в году ты получаешь повестку, надеваешь форму, берешь оружие и исполняешь мужской солдатский долг. Можете вообразить, какое количество смешных и даже гротескных ситуаций порождает – на общем драматическом фоне! – эта наша государственная особенность.

Да, в этой пестрой стране основной фон декораций – защитного цвета.

Три резервиста, отпущенные на субботу, лежат на весенней травке в Саду Роз, неподалеку от кнессета. На газете перед ними остатки только что съеденного солдатского пайка – банки из-под тушенки, скорлупки от яиц. Они лежат, беседуют – о чем могут беседовать сорокапятилетние отцы семейств? – о расходах на свадьбу дочери, о банковских ссудах, о растущих ценах на бензин…

На дорожке появляется группа туристов явно из России – паломники, все в крестах, бороды лопатой… Проходя, неодобрительно смотрят на солдат, и один говорит громко:

– У-у! Лежат, загорают, агрессоры сионистские, убийцы, людоеды!

Один из резервистов приподнимается на локте и говорит по-русски лениво и доброжелательно:

– Да вы не бойтесь, проходите. Мы уже предыдущей группой туристов пообедали…

* * *

Молодой человек лет двадцати пяти, классный системный программист, вальяжный увалень, гурман, эпикуреец. Когда рассказывает что-то или рассуждает, поднимает плутовские глаза к небу и спрашивает:

– Правда, Господи? – И сам себе отвечает, поглаживая себя по макушке: – Правда, Боренька!

Как-то летом призывается на очередную резервистскую службу. В один из дней этого срока ему дали увольнительную, он поехал к приятельнице в Тель-Авив, и там до двух часов ночи они отплясывали на дискотеке. После чего слегка поссорились, подружка уехала ночевать к бывшему приятелю, а ему выдала ключи от своего дома.

Он приехал к ней на квартиру ночью, разделся догола (стояла страшная жара, обычная для этого времени года) и завалился спать.

Проснувшись наутро, не обнаружил в квартире ни одной детали своего туалета. Куда-то исчезла вся одежда, от трусов и носков до галстука. Это было тем более странно, что портмоне и ключи от машины лежали на столе в целости и сохранности. Ничего не понимая, он принялся бродить по квартире.

Ария голого гостя.

Но увольнительная заканчивалась, и, хочешь не хочешь, надо было возвращаться в часть. К тому же машину свою он за неимением места припарковал квартала за два от дома. Делать нечего: он принял душ, открыл дверцы шкафа, подыскал просторный цветастый халатик, сунул ноги в шлепанцы и вышел на улицу. И пошел к своей машине.

У нас вообще-то по улицам самые разные люди разгуливают, да и общий карнавальный средиземноморский настрой позволяет часто «приспустить» галстук… Так что прохожие могли и не обратить внимания на это чучело. Остановил его армейский патруль. Уж как-то совсем странно выглядела бородатая вальяжная дамочка в шлепанцах на босу ногу сорок пятого размера.

И тут патруль выясняет, что перед ними – офицер Армии обороны Израиля…

Ребята остолбенели. Он объясняет им ситуацию. Патруль недееспособен уже не только к патрулированию – к твердому стоянию на ногах… Они валятся наземь от хохота. Наконец, придя в себя – тут надо оценить демократизм армейских наших нравов, – ребята сажают страдальца в машину и довозят до его собственного транспорта. А там уж он пересаживается в чем стоит в свой автомобиль и едет в часть.

Как и сколько раз его в пути останавливает дорожная полиция – я не берусь вообразить.

Так, собственно говоря, куда подевалась одежда?

Конечно, это была шутка его приятельницы. Она явилась утром к себе на квартиру, увидела спящего гостя и унесла одежду.

А я представляю только, как в части он объясняет начальству все обстоятельства дела, поднимая глаза к небу в поисках высочайшего подтверждения:

– Правда, Господи? – Правда, Боренька!

* * *

Наш друг Ефим Кучер делал в квартире ремонт. Кто-то ему сказал, что в одном только что открытом магазине в районе старой автобусной станции, Таханы Мерказит, товар вдвое дешевле. Утречком он – в старых шортах, лысый, каракатый – с собакой Лермонтовым поперся на Тахану. Ну а там, на горбатой улочке, в приземистых старых домах, отыскал вроде нужный номер, вошел и удивился: в магазине было полутемно, музыка играла. Должно быть, еще не выставили товар, подумал Ефим. На диване сидела девушка и странно – говорит Ефим – на меня смотрела. Понимаешь? Как на молодого…

Ефим вообще-то человек очень коммуникабельный.

– Ну, – говорит и руки потирает, – показывайте, что у вас есть.

Девушка окидывает его взглядом и говорит: мол, а что ж вы торопитесь? Может, сначала понравимся друг другу?

Ефим говорит:

– Дадите хорошую цену – понравимся.

Она:

– А у нас цена как везде.

Он возмутился:

– Чего ж тогда я к вам через весь город топал! Мне сказали, что у вас – дешевле.

Она отвечает оскорбленно: с какой, мол, стати, дешевле, когда у нас все санитарные нормы в порядке…

…Ну и так далее, пока он не понял, что попал в бордель.

* * *

А Сара по приезде в Израиль устроилась на работу в лабораторию реактивных двигателей. Начальник долго колебался – до нее в коллективе не было ни одной женщины. Не то чтоб он был женоненавистником, но уж больно профессия мужская. С Сарой заключили временный договор, дали испытательный срок – год.

Она действительно была единственной женщиной на всех шести этажах этого серьезного научного заведения. Соответственно, и туалетные комнаты предназначались только для мужчин. Мужики говорили ей: «Сарочка, не стесняйся, заходи к нам пописать». Но она стеснялась и бегала в туалет через дорогу в какую-то маклерскую контору.

И вот спустя год ежедневных ее мучений однажды утром она увидела, что начальник привел двух рабочих – выгораживать кабинку для женского туалета. Так она поняла, что принята на постоянную работу.

* * *

Когда нашему другу Сашке Рабиновичу сделали операцию и домашние уже валились с ног, на ночь ему наняли сиделку. Сиделкой оказался молодой человек удивительной наружности: в черной шляпе и в щегольских бриджах, заправленных в сапожки с узкими носами. Наутро Сашкина жена Роксана явилась в больницу и застала картину: парень сидел у постели больного в шляпе и, тихо напевая, вязал крючком длинный полосатый носок. Арабы с окрестных коек глядели на него дикими глазами. Роксана спросила:

– Где это ты научился вязать?

– Понимаешь, – сказал он, – в молодости я занимался рукоприкладством. – Поднял глаза на недоумевающую Роксану и сказал какое-то слово вроде «ушу» или «джиу-джитсу», она не поняла. Он пояснил: – Северная Корея.

Потом рассказал, что сиделка научила его вязать, когда его самого оперировали…

Роксана спрашивает удивленно:

– А ты перенес операцию?

Он поднял на нее глаза от вязания и невозмутимо произнес:

– Ножевое в легкое.

Так вот, старуха нянечка ему и сказала:

– Ты людям кости ломал-ломал, а теперь давай помогай сращивать.

Так он стал сиделкой.

* * *

И эта женщина – маленькая, худенькая, повязана платочком, как в рязанских селах, – во время войны работала в Ташкенте нянечкой в госпитале. Выходила одного тяжелораненого, вышла за него замуж. Он оказался польским евреем. Тихий ласковый человек. Когда Сталин разрешил польским евреям возвратиться в Польшу, она взъерепенилась, пришла к матери, говорит: «Не поеду ни в какую его Польшу, разведусь с ним».

А мать ей: «Нет уж! Ты замуж за его выходила, знала, что он поляк? Вот теперь и езжай за им в его Польшу. Куда муж, туда и жена. Ты нитка, он иголка».

И они уехали в Польшу. А когда через несколько лет там поднялась антисемитская волна и их сына поляки избили, велосипед его поломали, надумал ее муж уезжать в Израиль. Она – на дыбы. Приехала в гости в Ташкент, к матери. Говорит: «Не поеду я ни в какой его Израиль. Вернусь сюда». А мать ей: «Еще чего! Ты замуж за его выходила, знала, что он – жид? Вот теперь езжай за им в его Жидовию».

И они приехали в Израиль в 58-м году. Прямо в приграничный северный Кирьят-Шмоне, захолустье проклятое. Он подметал автобусную станцию, она что-то где-то мыла, жили в бараке, вокруг на Севере взрывы, зимой дожди, грязь, воды нет… Это из Варшавы-то, а?! Он по ночам плакал. Говорил: «Покончу с собой, не вынесу – куда я семью завез!»

Ну, потом все потихоньку наладилось. Годы шли, он нашел работу в Иерусалиме, переехали. А когда дети выросли, дочь надумала замуж выходить, встал вопрос: как же мать под свадебный балдахин – под хупу – войти сможет, ведь нельзя ей, нееврейке.

Она рассказывает:

– Я стала екзамен этот сдавать, на еврейство, и уж они меня гоняли-гоняли, никак в еврейство не хотят пускать. А свадьба дочери на носу, и я, значить, под хупой стоять никак не вправе. Ох, я взъярилась: «А ну, говорю, позовите моего мужа и заставьте-ка его ответить на все те вопросы, чем вы меня мучаете. Если он не ответит, то вы вот не смеете меня попрать!..»

Словом, выписали мне огромное такое свидетельство, красивое, диплом прямо картонный, тисненый, с золотом!.. Ну, купила я платье новое. Туфли на каблуках. Еле влезла в эти туфли. Стою, качаюсь. Сумку тоже новую купила, красивую. Только беда – диплом в сумку не лезет, а я его непременно с собой взять хотела – вдруг станут перед хупой проверять меня. Так я что надумала – привязала его ленточкой к сумке, так и пошла и гордо под балдахином стояла: пусть знают, что я право имею!

* * *

…Под пальмовым лохматым балдахином храпит в куще мой сосед, адвокат Барзилай… Он выполняет «мицву» (установление) праздника Суккот – семь ночей спать под открытым небом. Его истовый храп разносится над нашим сонным городком – пригородом Иерусалима – и могучими волнами катится в пустыню, отзываясь от скалистых холмов, как эхо всех звучащих в веках рулад из тысяч носоглоток пастухов, торговцев, погонщиков верблюдов, паломников, наконец… Вселенная полнится, набухает, клубится пузырящимся храпом, трясется от раскатистых хрипов, догоняющих друг друга, как шары в кегельбане, и катящихся дальше, дальше, к замкнутой белой соляной накипью чаше Мертвого моря… Кажется, вот-вот она лопнет, вселенная, как кастрюля, переполненная храпом адвоката Барзилая, раскинувшего свои телеса под звездным, я извиняюсь, шатром, неподалеку от запертого на ночь туристического автобуса фирмы «Джек и Елизарий», в виду бугрящейся на горизонте Масличной горы, в ожидании обряда помазания грядущего Мессии…

(Из письма автора Марине Москвиной)

* * *

А как израильтяне распевают гласные! Чаще это раздражает. Но иногда бывает очень трогательно.

Так, на днях картинка в иерусалимском парке Колоколов: крошечный полуторагодовалый малыш сполз с рук матери и заковылял куда-то в сторону. Что бы крикнула наша русская мать? «Ты куда пошел, а? Ну-ка, вернись назад!»

А эта буквально запела: «Леан ата оле-ех! Леа-ан? Леа-ан? Леа-а-ан?!»

Это была ария из оперы. Куда, куда вы удалились… Последнее «леа-а-а-ан» долго затихало в аллеях.

* * *

И если уж зашел разговор – израильтяне вообще очень музыкальны.

Скрипачка Мира Петровская ехала на концерт своего оркестра… Поднялась в автобус, протянула водителю деньги. Водитель – обычный по виду парень-марокканец, со всеми сопровождающими образ типовыми приметами: золотые цепочки везде, где только тело позволяет, голова в торчащих сосульках волос, и на лобовом стекле автобуса – портрет обожествляемого восточными евреями раввина-чудотворца Бабы Сали.

Он взглянул на футляр в руке пассажирки и спросил: куда, мол, со скрипкой едешь? Она отвечает:

– На концерт.

– Что сегодня играете?

Она удивилась. Но виду не подала. Говорит:

– Малера.

– С хором?

Она, конечно, оторопела.

– Нет.

– А, – сказал он, – значит, Первая симфония. – Закрыл двери автобуса и крутанул баранку.

У нас есть круглосуточная программа на радио – передают только классическую музыку. То ли радио наслушался, говорит Мира, то ли просто – интеллигентный человек.

(Выступала она недавно со своим аккомпаниатором на вечернем приеме в кнессете. Первая реакция членов парламента: «Как вы красиво одеты!»

Израильтяне не очень обращают внимание на внешний вид. Один из депутатов, рассказывает Мира, был в смокинге и сандалиях на босу ногу.)

* * *

Впрочем, сотрудники российской миссии у нас тоже со временем расслабляются.

Звонит Кларочка Эльберт, директор Иерусалимской русской библиотеки.

– Представляешь, – говорит, – в российском посольстве совсем с ума сошли! Прислали нам с Колей приглашение на банкет, адресованное «мистеру и миссис Кларе Эльберт». Коля прочитал и сказал мрачно: «Да ну их на х…й, не поеду!»

* * *

Художник Сима Островский, из ленинградской группы еврейских художников «Алеф», был страшным матерщинником. Он вообще не мог разговаривать без

мата – запинался, изумлялся сам себе и в конце фразы смачно присовокуплял. Приехал в Израиль в начале семидесятых. Друзья, прекрасно знавшие Симу, убедили его, что на жизнь здесь он должен зарабатывать частными уроками живописи и рисунка.

Через знакомых раздобыли ему первых учениц – двух сестренок четырнадцати и двенадцати лет из чопорной семьи бывших рижан. Предупредили, чтоб Сима не смел раскрывать рта.

Девочки пришли на первый урок, и напряженный Сима, долго репетировавший свое вступительное слово, сказал, тщательно выговаривая слова:

– Вот, я поставил вам натюрморт. Вот акварель. Кисти. Вода. Рисуйте. Разговаривать не надо. Вопросов мне не задавать. Рисуйте молча. Все!

Воспитанные девочки – белые отложные воротнички, туго заплетенные косы – послушно принялись рисовать.

Прошло несколько минут.

В полной тишине Сима побродил от стены к стене, распахнул окно, закурил, расслабился, посвистал… И, уставясь в синее небо, произнес задумчиво:

– А если возникнет какой-нибудь вопрос, вы мне – х…як: записочку.

Стоит ли говорить, что этот урок стал первым и последним на его педагогическом поприще.

Еще одну историю о Симе Островском любит рассказывать Сашка Окунь, известный израильский художник, из той же группы «Алеф».

Однажды в юности они с приятелем оказались в Одессе. И, шатаясь по городу, набрели на знаменитый литературный кабачок «Гамбринус». По сути, это была пивнушка, директора в ней менялись по мере того, как все жиже разбавляли пиво.

По вечерам в пивнушке играли два страшных, два великих лабуха: Исаак Абрамыч – жовиальный толстячок, присобачивавший к скрипке какое-то электрическое устройство, и Абрам Исаакыч – длинный желчный циник, он бацал на фоно.

И вот каждый вечер Сашка с другом сидели у их ног и преданно слушали их импровизации. В конце концов музыканты обратили на мальчиков внимание, различили их средь всеобщего хлама и хлада и однажды разговорились. Узнав, что юноши из Ленинграда, Исаак Абрамыч спросил:

– А Симу Островского вы знаете?

Саша сказал гордо:

– Знаем!

Тогда циник Абрам Исаакыч поднялся из-за инструмента, вытянулся во весь свой струнный рост и торжественно произнес:

– Сима Островский – первый тромбон в мире!

Сима – метр с кепкой – играл, оказывается, на всех инструментах!

* * *

В Доме художников в Иерусалиме каждые две недели обновляется экспозиция живописи и скульптуры. В небольшом зале там же проходят литературные вечера. Недавно меня пригласили выступить. Собралась публика, мои читатели. На небольшой эстрадке возвышалась скульптура из постмодернистских – огромный гипсовый столб, заключенный в железную клетку.

Я начала что-то читать, рассказывать, разговаривать с публикой – как всегда. Но на этот раз контакт никак не устанавливался. Раздавались странные, не по делу, сдавленные смешки, двусмысленный ропот… Все смотрели куда-то поверх меня…

Я оглянулась, вгляделась в громоздкое произведение искусства и все поняла. Экспонат за моей спиной являл мужской половой орган, запертый в железной клетке. Должно быть, это что-то символизировало. Например, обуздание страстей.

В Израиле любят концептуальное искусство. В семидесятых годах был популярен шлягер: «Мне нравится концептуальное искусство в Тель-Авиве». Хотя, на мой взгляд, Иерусалим следовало бы пощадить.

Искусствовед Гриша Мостовой написал в своем еженедельном обзоре в газете «Новости»:

«Скульптор Цецилия Фукс изваяла гигантский двухметровый член, гордо вознесшийся к потолку. Сюжет этот не нов. Многие скульпторы использовали его. Микеланджело, например, тоже ваял эту деталь.

Но фоном ее взял Давида!»

* * *

…Ежегодный парад в День Иерусалима всегда производит впечатление парада-алле на арене цирка. Мы с Феликсом Дектором встретились в городе и угодили в самый эпицентр шествия. В небе прямо над процессией кружили вертолеты, охраняя эту горстку блаженных.

Кто только не шел с плакатами по улице Яффо со стороны Яффских ворот!

Мы присели на скамейку у входа в здание Центрального почтамта и любовались пестрой, на вид вполне безумной компанией. Интересно – почему в этот день приезжают выразить солидарность столице Израиля такие причудливые люди? Значит ли это, что толика безумия входит в духовную субстанцию этого места?

Они шли по трое, по пятеро, несли транспаранты, с воодушевлением пели израильские песни. Японцы, филиппинцы, малайцы, индийцы и таиландцы… Кто-то бил в бубен и приплясывал, кто-то ритмично тряс большими яркими погремушками…

Было очень смешно.

Я, как всегда в таких случаях, плакала.

В этой карнавальной колонне выделялась делегация Германии – человек пять. Они шли чинно в ряд, строго одетые, несли транспарант «Германия любит Израиль!».

– Германия очень любит Израиль, – сказал Феликс. – Мне это напоминает анекдот: «Рабинович, вы любите свою жену?» – «Конечно! Пойдите, там еще остался кусочек…»

(Из письма автора Марине Москвиной)

* * *

Возвращаюсь в Иерусалим из Хайфы. Моим соседом в автобусе оказывается славный и словоохотливый старичок. Он родом из Польши, несколько лет в детстве, после войны, провел в России. Вот уже сорок лет живет в Иерусалиме. Некоторое время мы обсуждаем политическую ситуацию, я, по всей видимости, слишком резко отзываюсь о наших «кормчих».

– Вам не нравятся евреи? – участливо спрашивает он.

– Мне не нравятся люди, – подумав, говорю я.

Он вздыхает, улыбается и широко поводит рукой, где за окном вдоль шоссе тянется слепяще-синяя полоска Средиземного моря.

– А я, знаете, люблю наши края! – говорит он, щурясь. – Какие погоды у нас! Нет, вы что думаете – я получил русское образование, я ничего не забыл, я все помню! «Всякий русский любит быстрой езды!» Это Гоголь, между прочим, хорошенький антисемит. Я ничего не забыл!

Да, Гоголь… Навестив наши края, он горестно заметил в одном из писем: «Был у Гроба Господня, а лучше не стал».

* * *

Кстати, о паломничестве.

Израильтяне – страстные путешественники. В любой, что называется, точке нашей планеты вы рискуете встретить соотечественников. Если некто – в Париже, Монако, Сингапуре или Киото – расхаживает по залам музея, улицам и магазинам с видом главы местного муниципалитета, хозяйским глазом посматривая на остальных туристов, знайте, что человек этот – израильтянин.

Может быть, поэтому наш приятель не торопился с выездом за границу. Он говорил, что горластых собратьев ему и дома хватает. На десятом году жизни в Иерусалиме жена все-таки уговорила его посмотреть мир, да и случай подвалил: удивительно дешевые путевки по Италии.

Спустя недели три он рассказывал нам об этом кошмаре.

Группа подобралась израильская, с гидом-израильтянином и с постоянно орущими нашими братьями. В автобусе (а на автобусах передвигались в день по пять-шесть часов) они хохотали, хлопали в ладоши, перекрикивались и громко пели… Едет автобус по Флоренции, а из окон несется дружный рев: «Рахели, моя постель без тебя холодна!» Сама экскурсия проходила по укороченной программе. Группа куда-то неслась, отстать от нее было невозможно, потому что автобус ехал дальше.

Но самым впечатляющим оказалось посещение Помпеи. Сначала все тащились по жаре по каким-то камням. Потом возник местный парнишка, который три месяца когда-то учил иврит в Тель-Авиве, и повел группу по весьма однобокому маршруту. Указал на стрелку в виде мужского члена и сказал: «Видите этот указатель? Здесь был лупанарий!»

Далее он останавливался у очередного торчащего из стены или свисающего откуда-нибудь все того же члена. «Здесь тоже был лупанарий!» – говорил он ликующим голосом, и дальше группа трусила от одного лупанария к другому. Наконец все остановились у одной из сохранившихся вилл. Вошли, бегом миновали великолепные фрески и шумной гурьбой ввалились в спальню, где вошедших встречала статуя бога плодородия с невероятным членом.

Наступила почтительная тишина, и вся группа восхищенно и уважительно выдохнула: «Вау!!!»

* * *

Прихожу домой, включаю автоответчик. Задыхающийся мужской голос оставил запись: «Работа для Дины!!!» – и номер телефона.

Звоню. Это юморист Юлиан Безродный.

– Дина! Создается новая либеральная газета, которая будет бороться против религиозного засилья. Если это вас не смущает, я продолжу.

– Юлиан, боюсь, что это меня смущает.

– Вам не придется ничем поступиться! – завопил он взволнованно. – Все ваши статьи буду писать я сам!

– Юлиан, – сказала я мягко, – поймите меня правильно, меня давно уже ничто не может удивить, но бороться с религиозным засильем, одновременно соблюдая субботу… в этом есть некое противоречие, вы не находите?

Он подумал, сопя в трубку. Сказал с тяжелым значением:

– Таки плохо!

Что, думаю, за авантюра – газета, которая создается исключительно для того, чтоб бороться с религиозным засильем?

– А кто, – спрашиваю, – будет главным редактором этой газеты?

– Вы!

Я удержалась, чтобы не расхохотаться. Господи, почему я закончила мой роман! Здесь стоило бы писать многотомные саги. Как раз человеку, в чьем доме молочное отделено от мясного, уместно руководить газетой против

религиозного засилья.

– Нет, – говорю, – полагаю, главный редактор должен хоть отчасти разделять взгляды своих сотрудников и хоть отдаленно соответствовать своим образом жизни центральной линии издания. Меня могут не так понять.

Кто же, думаю, субсидирует эту спецзатею? Кого осенила столь богатая идея? А вслух спрашиваю:

– Кто же хозяин этих благодатных полей?

– Владелец сети некошерных магазинов «Тим и Мотя».

* * *

…Слепая с собакой-поводырем в дамском туалете на центральной автобусной станции Иерусалима… Она и в кабинку зашла с собакой. Я стала ждать, когда она выйдет, спрашивая себя: зачем мне это нужно и как можно на пятом десятке продолжать оставаться «зевакой праздным»?

Вскоре она вышла, достала из сумки пластмассовую коробку и выронила ее. Опустилась на корточки, стала шарить рукой по полу. Я бросилась, подняла коробку и подала ей. Она сказала громко в мою сторону:

– Спасибо тебе!

Налила воды в коробку и поставила на пол. Собака принялась шумно лакать. Был жаркий день, хамсин.

Потом слепая долго причесывалась перед зеркалом и даже красила губы. Я смотрела на нее и думала: зачем она стоит перед зеркалом? В сумраке туалетной комнаты казалось, что она смотрит – и довольно критически – на свое отражение… На стене туалета была прикноплена фотография улыбающейся леди – Дианы…

Я вспомнила, как однажды мне пришлось сидеть позади слепца, зашедшего в междугородный автобус со своей собакой. Сначала улеглась под сиденье она, потом сел он…

Некоторое время я размышляла об этих двоих со свойственной моим мозгам сентиментальной элегичностью, потом отвлеклась. Передвинув ногу, наткнулась на что-то мягкое и приняла это за баул сидевшего рядом со мной солдата. И только в конце пути поняла, что ехала, поставив ноги на собаку. И поразилась ее мудрому смирению, этому великому терпению ради одной, ее единственной жизненной цели: оберегать хозяина. Мои ноги хозяину не угрожали, это было главным, а значит, их надо было терпеть всю дорогу от Иерусалима до Тель-Авива.

Кстати, когда слепой в Израиле выходит на пенсию, у него – по существующему закону – отбирают собаку-поводыря. Один из наших «русских» депутатов кнессета выступил с законопроектом, в котором слепым-пенсионерам оставляли собак.

Я горжусь активной деятельностью «русских» в кнессете.

Дивная страна! Боже, какая страна – живи, пиши и никогда не испишешься!

(Из письма автора Марине Москвиной)

* * *

Илан, двадцатилетний репатриант из Великобритании, перед Шестидневной войной поступил на Физико-математический факультет Иерусалимского университета. Когда началась война, парня призвали в боевые части.

В одном из боев его рота должна была выбить иорданских легионеров, засевших в жилом доме иерусалимского района Тальпиот. Процесс был привычным: под дверь закладывается заряд, после взрыва в открывшийся проем бойцы бросают гранаты. Но в тот раз то ли заряд был слишком сильным, то ли строение слишком ветхим – от взрыва упал весь дом и завалил Илана обломками. Года три парень приходил в себя после контузии.

Сейчас он профессор, уже двадцать лет преподает математику в Иерусалимском университете. Однажды, показывая студентам элегантный способ решения сложной задачи, он заметил:

– Советую вам всегда применять этот способ. Он позволит объяснить решение любому человеку. Уверяю вас, даже уборщики на вашем этаже поймут задачу, если вы объясните им способ решения.

– Ну конечно поймут! – раздался с галерки насмешливый голос. – У них ведь у каждого – третья степень.

Дело происходило в начале девяностых, когда наши кандидаты и доктора шуровали швабрами где только удавалось.

И то сказать: чем только не приходится поначалу заниматься в этом городе новым иерусалимцам!

* * *

Могучее кровообращение еврейской истории, связь времен, замкнутость сюжетов, круги и магические узлы судеб…

Родив дочку – лет семнадцать назад, в Москве, – Лера выкормила заодно мальчика соседки, у той не было молока…

Спустя много лет в случайном разговоре выяснилось, что бабушка этой соседки во время войны спасла еврейскую девочку. Когда гнали на расстрел колонну евреев, бросилась и вырвала из рук молодой женщины двухлетнего ребенка. И ей удалось скрыться.

Поскольку ребенок был смуглым, все время оккупации ей приходилось мазать сажей двоих своих детей, чтобы как-то сгладить разницу – она выдавала девочку за свою.

Спустя несколько лет после войны девочку разыскали оставшиеся в живых тетя и дядя, в пятидесятых годах они уехали с ней в Израиль, но связь между

семьями продолжалась, эта старая женщина приезжала в гости, стала «Праведницей Израиля», в ее честь, как водится, посадили дерево в Аллее Праведников музея «Яд Вашем». Потом она умерла, и связь заглохла.

И вот спустя годы Бог воздал ее семье по-своему, как только Он умеет: еврейская женщина выкормила ее правнука своим молоком.

* * *

…Мы праздновали свадьбу моего приятеля на одной из маленьких уютных, как бы стесненных домами площадей в центре Иерусалима… Столики были расставлены вокруг каменной чаши фонтана посреди площади. Играла музыка, перекрикивая ее, гости веселились, танцевали парами и в кругу, обнявшись за плечи…

В переулке, ведущем на площадь, показалась пара – юноша и девушка, – вероятно, туристы. Попав в полосу музыки, они – естественно и незаметно, как входят в мелкую воду, – сменили шаг на легкое пружинное скольжение и, пританцовывая, направились в боковой переулок. Там, в затемненном уголке, они сняли рюкзаки и принялись самозабвенно танцевать друг перед другом. Оба – особенно девушка – танцевали свободно, легко, по-дикарски: восхитительно просто. Кто-то из гостей увидел, позвал других, и вскоре уже все переместились к фонарю, неподалеку от которого на тесном пятачке желтоватого света упоенно двигались под музыку эти двое. Девочка – в грубых кроссовках, узкой прямой юбке ниже колен и тесной короткой майке (светлые волосы собраны на затылке в хвостик) – была так поразительно пластична, каждое движение ее было наполнено таким обаянием и грацией, руки плескались, то улетая и волнуясь где-то над головой, то, как ленты, обвивая ее тело. То вдруг она принималась кружиться и отклоняться, и все остальные милые и мелкие движения приходили в точное соответствие с движением корпуса. Мальчик словно оттенял ее – пританцовывал маленькими шажками, семенил вокруг своей подружки, счастливыми глазами приглашая всех полюбоваться. Лицо его влюбленно сияло, в такт музыке одним подбородком кивая на девушку, он словно просил у присутствующих подтверждения: правда она прелесть, правда, ведь правда?

Так они протанцевали несколько минут, подняли рюкзаки и, кружась, скользящим шагом, снисходительно улыбаясь на наши бурные рукоплескания и

горластые «браво!», невозмутимо удалились в сторону улицы Яффо.

Их появление было таким неожиданным подарком!

Короче – свадьба удалась…

(Из письма автора Марине Москвиной)

* * *

По поводу неожиданных появлений.

Наш друг Ефим Кучер рассказывал, как сын его Антон с друзьями однажды в ночь на Новый год, переодевшись Дедами Морозами, гоняли на велосипедах по Иерусалиму.

Я вспомнила одну знакомую семью «отказников». Это было в конце семидесятых, в эпоху застоя. С работ их повыгоняли, жить было не на что. Летом спасал огородик на даче, а зимой – «елки». Детские утренники или приглашения на дом – они работали по вызовам в фирме «Заря». Наряжались Дедом Морозом и Снегурочкой, носили за плечами мешки с подарками, водили с детьми хороводы у елок… В фирме относились к ним благосклонно. Директор говорил: «Мы любим работать с дед-морозами вашей нации. У вас никогда не происходит возгорания бороды».

Насчет загадочного возгорания можно понять: Деду Морозу наливали в каждом доме. В какой-то момент, потеряв бдительность, неверной рукой он подносил зажженную спичку к сигарете, вставленной меж ватных кустов, – и!..

…А я представляю, как в переулках Иерусалима меж старых арабских домов мелькают на велосипедах спины в красных армяках и на теплом ветру Иудейских гор развеваются белые пакли привязанных бород, недосягаемых для возгорания…

…А вчера пировали мы с Лизой и Юрой в Доме Тихо – ты помнишь, конечно, этот окруженный соснами старый каменный дом…

Ребята пригласили нас с Борей обмыть их вступление в Союз писателей, я ведь руку приложила, а точнее – грудью проложила туда им дорогу, включая писанину рекомендаций, рецензий и прочее.

Оказывается, по вторникам вечерами в Доме Тихо играет замечательный джаз-банд (я даже не знала!), и столики надо заказывать заранее. На террасе стоит шведский стол с вином и супчиком в гигантской фаянсовой супнице, с огромным количеством сыров и салатов. И все это за твердые семьдесят шкалей можно повторять бессчетное количество раз, сколько влезет.

Под желтыми фонарями пьяно-сладостно гундосит джаз-банд, а чинная публика беседует.

Представь этот вечер.

Борька с жары и устатку выпил слишком много замечательного кармельского из подвалов Зихрон-Яакова и съел слишком много козьего, овечьего, а также верблюжьего, а также разного другого сыра, который в виде шариков, брусков, кирпичиков и голов, обсыпанных красной и черной паприкой, молотыми оливками и маслинами и обваленных в орехах, чесноке, тмине и других бедуинских приправах, – лежал на досках, покачивался и плыл в медовом свете ночи…

В общем, от всего этого янтарного великолепия Боренька на нетвердых ногах пошел блевать в этот – ты помнишь? – культурнейший в Иерусалиме туалет. Юра пошел следом – приглядеть – и спустя полчаса выволок на себе бледного вялого Борю.

Вечер, словом, удался.

Кстати, зайдя в женский туалет, я застала там смотрителя музея, Константина, со шваброй в руках. Значит, по совместительству он уборщик. Или просто не доверяет чужим никакой работы в Доме. Мне было как-то неловко заходить при нем в кабинку, и минут двадцать мы чинно обсуждали культурные мероприятия Дома Тихо, о которых (вечерних) я, оказывается, ничего не знала. Точно так же, как бывают дураки летние и зимние, я все эти годы была завсегдатаем дневным, а Лиза с Юрой – ночными. Мы стояли с Константином, изящно облокотившись на умывальники (он со шваброй в руках), делая вид, что стоим где-нибудь в фойе

оперного театра; в туалет входили дамы в колье и диадемах, весело журчали в кабинках струи, потоки и ручьи разной мощи, а Константин (он энтузиаст и патриот Дома Тихо) говорил мне: «Вторники – это что! Джаз, шушера! Вы бы посмотрели – какая публика собирается у нас на исходе субботы! Играет ансамбль «Золотые струны Иерусалима», а собираются англосаксы – столики за три недели нарасхват!»

К чему я все это? – чтоб ты поняла, что должна еще приехать! Да что мы с тобой, в самом деле, хуже англосаксов? Или струи у нас слабее?!

(Из письма автора Марине Москвиной)

* * *

Мы устроили у нас дома «отвальную» по поводу отъезда на два года в Москву.

Губерман, узнав, что я собираюсь угощать гостей пловом, сказал:

– Только не плачь над ним, а то пересолишь.

Довольно весело, легко прошел этот вечер. Все, конечно, изгалялись на тему моего высокого назначения. Игорь обращался ко мне не иначе как «Дина Сохнутовна».

Сашка Окунь вспомнил, как его приятель, работая в московском «Сохнуте» в начале девяностых, нанял себе в телохранители полк казаков, которые повсюду с пиками наперевес и с шашками на боку выступали впереди него.

– Я вообще давно считаю, что надо учредить иорданское казачество. Если есть донское и кубанское… чем хуже легендарный Иордан? А ты, – сказал он мне, – вообще должна вести себя заносчиво, сплевывать на ходу, ходить повсюду завернутая в израильский флаг, требовать, чтобы тебе отдавали честь при встрече и носить на боку шпагу.

Игорь, весь вечер наблюдая за моими нервными вскакиваниями (на другой день мы уезжали), проникновенно сказал:

– Ну что ты так трепетна, как гимназистка, продавшаяся в портовый бордель? Не волнуйся, начнешь работать и увидишь, что ничего страшного нет, что среди клиентов даже и симпатичные попадаются.

Кое-кто из гостей советовал тщательнее проверять у клиентов документы – черт-те кого, мол, привозят в страну…

* * *

Бершадские, например, привезли в Израиль старую няню, тихую русскую женщину. Привезли на свой страх и риск по купленным еврейским документам, ибо без Нюши никто бы и с места не тронулся.

Годах в тридцатых Нюшу прихватил с собой из Суздаля старый Бершадский. Ездил он по стране от «Заготзерна», увидел в какой-то конторе тощую девочку, таскающую тяжеленные ведра, по въедливости своей расспросил и вызнал все – что сирота, живет у соседей из милости, подрабатывает уборщицей. Был старый Бершадский человеком резких, мгновенных решений.

Так Нюша оказалась в семье. И прожила с Бершадскими всю свою жизнь. Вынянчила дочь Киру, потом ее сына Борю, потом народились от Бори Мишка и Ленка, подросли, пошли в школу…

Тут все они и переехали в Иерусалим.

Поначалу Нюша тосковала: все вокруг было непонятным, люди слишком крикливыми, свет слишком ярким, испепеляющим. С утра на окнах надо было опускать пластмассовые – гармошкой – жалюзи.

Но постепенно она освоилась, все ж таки Ерусалим, Земля Святая, по ней Своими ноженьками Сам Иисус ходил!

Она отыскала дорогу в церковь Марии Магдалины и буквально за несколько месяцев стала в христианской общине для всех родной и необходимой. И монахини, и послушницы, и паломники – все Анну Васильевну любили и почитали. Замечательно, кстати, готовила она еврейские национальные блюда, которым в свое время обучила ее жена старого Бершадского, великая кулинарка

Фира. Монахиням очень нравились манделех и фаршированная рыба.

Потом Нюша заболела, тяжело, окончательно… Христианская община всполошилась, поместили ее во французский госпиталь «Нотр-Дам», ухаживали, навещали, поддерживали безутешную семью…

Под конец Нюша горевала, что Бог за грехи не пустит ее в рай.

– Да за какие такие грехи, ты ж святая! – восклицала пожилая Кира.

– Нет, – бормотала она, – за ненавистно проклятое.

– Да за какое такое ненавистно?!

– А вот, Полину не любила…

Полина была соседкой по коммунальной квартире в Трубниковском переулке – скандальная вздорная баба, терроризирующая все проживающие там семьи.

– Полину тебе не засчитают, – обещал Мишка, солдат десантных частей Армии обороны Израиля, безбожный представитель третьего выращенного ею поколения семьи Бершадских.

…Отпевали ее в церкви Нотр-Дам священник с хором мальчиков, пришло много народу с цветами, нарядный черный гроб, украшенный серебряными вензелями и кистями, торжественно сопровождал на кладбище кортеж из семи черных «Мерседесов», – все расходы по скорбному ритуалу взяла на себя христианская община.

Разве могла когда-нибудь Нюша помыслить, что лежать она будет на самой горе Сион, с вершины которой ее кроткой душе откроется во всем своем белокаменном великолепии святой Ерусалим!

Видно, прав был Мишка, безбожный представитель третьего выращенного ею поколения семьи Бершадских: Полину не засчитали.

* * *

Впрочем, не нам судить – что, и как, и кому засчитывают там, в небесной канцелярии…

Вот пожилой немец Готлиб фон Мюнц… Его мать, баронесса, после прихода Гитлера к власти в знак протеста приняла иудаизм, затем своим порядком попала в концлагерь и погибла. Мальчик успел спастись, его где-то спрятали родственники. Переживший смерть матери, потрясенный ее судьбой, он уехал в Израиль и всю жизнь прожил здесь, подрабатывая рисунками в газетах, какими-то карикатурами.

С расцветом эпохи компьютеров он, немолодой уже человек, осилил все премудрости компьютерной графики и подвизается на книгоиздательской ниве. Когда очередной работодатель разоряется, его нанимает следующий авантюрный еврей – продавец воздуха (поскольку многие из них – русские евреи, он выучил русский язык), и вновь он сидит и верстает страницы русских газетенок в программе «Кварк» или еще какой-то там программе – пожилой немец, барон фон Мюнц, гражданин государства Израиль, старожил Иерусалима, сдержанный негромкий человек.

И другая судьба: девушка, француженка, родилась в истово католической семье, воспитывалась в бенедиктинском монастыре, затем окончила школу медсестер и уехала в Африку с миссионерскими целями. Быт там своеобразный, особой библиотеки взять было неоткуда, по ночам донимали москиты… Она пристрастилась читать Библию. И в процессе этих ежедневных, вернее, еженощных чтений открыла для себя экзальтированная девица, что еврейская религия – основа основ, самая естественная, самая доподлинная вера и есть.

Она приехала в Иерусалим, вышла замуж за польского еврея и прожила здесь буквально всю жизнь: дала себе обет, что никогда – никогда! – не покинет Иерусалима.

Она ни разу из него и не уезжала… Муж, известный в Польше архитектор, спроектировал и построил в Старом городе причудливую трехэтажную квартиру с огромной террасой, обращенной к Западной стене.

Потом он умер, а женщина эта так и живет – удивительная пленница своей истовой веры, старая иерусалимка. Время от времени она является в Министерство абсорбции, берет адрес или телефон какой-нибудь совсем новой семьи репатриантов и некоторое время опекает этих обезумевших от собственного шага в пропасть людей: возит их повсюду, объясняет все, рассказывает – приручает к Иерусалиму, царственному дервишу, припыленному королю городов, мифу сокровенному. А к нему ведь необходимо припасть, не глядя на мусорный бак у соседнего дома… И вот она, приемная дочь Иерусалима, понимает это как никто другой и поит, поит из собственных ладоней драгоценной любовью к этому городу, который пребудет вечно, даже если распахать его плугом – как это уже бывало, – вечно пребудет, ибо поставлен – на скале.

* * *

Довольно часто я размышляю о возникновении феномена мифа в сознании, в чувствовании человечества. Я не имею в виду культурологический смысл этого понятия. Скорее, мистический. Знаменитые сюжеты, отдельные исторические личности, произведения искусства, города – вне зависимости от степени известности – могут вознестись до сакральных высот мифа или остаться в ряду накопленных человечеством земных сокровищ.

Вот Лондон – огромный, имперской славы город. Париж – чарующий, волшебный город! Нью-Йорк – гудящий Вавилон, законодатель мод…

Иерусалим – миф.

Миф сокровенный…

2004

Я и ты под персиковыми облаками

Это история одной любви, бесконечной любви, не требующей доказательств. И главное – любви неослабной, не тяготящейся однообразием дней, наоборот, стремящейся к тому, чтобы однообразие это длилось вечно.

Он – прототип одного из героев моего романа.

Собственно, он и есть герой моего романа, пожалуй, единственный, кому незачем было менять имя, характер и общественный статус, которого я перенесла из жизни целиком на страницы, не смущаясь и не извиняясь за свою авторскую бесцеремонность. В этом нет ни капли пренебрежения, я вообще очень серьезно к нему отношусь. Более серьезно, чем ко многим людям. Потому что он – личность, как принято говорить в таких случаях.

Да, он – собака. Небольшой мохнатый песик породы тибетский терьер, как уверяет наш ветеринар Эдик.

Почему-то я всегда с гордостью подчеркиваю его породу, о которой, в сущности, ничего не знаю, да и знать не желаю: наш семейный демократизм равно широко простирается по всем направлениям. На нацию нам плевать, были бы душевные качества подходящие.

Попал он к нам случайно, по недоразумению, как это всегда бывает в случаях особо судьбоносных.

В то время мы жили в небольшом поселении в окрестностях Иерусалима, в центре арабского города Рамалла, в асбестовом вагоне на сваях, посреди Самарии. Весна в том году после необычно снежной зимы никак не могла набрать силу, дули змеиные ветры, особенно ледяные над нашей голой горой.

Щенка притащила соседская девочка, привезла из Иерусалима за пазухой. В семье ее учительницы ощенилась сука, и моя шестилетняя дочь заочно, не спрашивая у взрослых разрешения, выклянчила «такусенького щеночка». В автобусе он скулил, дрожал от страха, не зная, что едет прямехонько в родную семью. Родная семья поначалу тоже не пришла в восторг от пополнения.

Мы втроем стояли у нашего вагончика, на жалящем ветру, дочь-самовольница скулила, и в тон ей из-за отворотов куртки соседской девочки поскуливало что-то копошащееся – непрошеный и ненужный подарок.

Я велела дочери проваливать вместе со своим незаконным приобретением и пристраивать его куда хочет и сможет.

Тогда соседка вытащила наконец этого типа из-за пазухи.

И я пропала.

Щенок смотрел на меня из-под черного лохматого уха бешеным глазом казачьего есаула. Я вдруг ощутила хрупкую, но отчаянную власть над собой этого дрожащего на ветру одинокого существа. Взяла его на ладонь, он куснул меня за палец, отстаивая независимость позиции, придержал ухваченное в зубах, как бы раздумывая – что делать с этим добром, к чему приспособить… и сразу же принялся деятельно зализывать: «Да, я строг, как видишь, но сердцем мягок…»

– Его назвали Конрад… – пояснила девочка.

– Ну, мы по-ихнему не приучены, – сказала я. – Мы по-простому: Кондрат. Кондрашка.

Недели через две, когда все мы уже успели вусмерть в него влюбиться, он тяжело заболел. Лежал, маленький и горячий, уронив голову на лапы, исхудал, совсем сошел на нет, остались только хвост и лохматая башка… Ева плакала… Да и мы – были минуты – совсем теряли надежду. Завернув в одеяло, мы возили его на автобусе в Иерусалим, к ветеринару. Тот ставил ему капельницу, и, покорно лежа на боку, щенок смотрел мимо меня сухим взглядом, каким смотрят вдаль в степи или в пустыне.

Но судьба есть судьба: он выздоровел. Принялся жрать все подряд с чудовищным аппетитом и месяца за два превратился в небольшую мохнатую свинью, дерущуюся со всеми домашними.

Стоял жаркий май, днем палило солнце, к вечеру трава вокруг закипала невидимой хоральной жизнью – что-то тренькало, звенело, шипело, жужжало, зудело, и все это страшно интриговало Кондрата.

Под сваями соседнего каравана жил какой-то полевой зверек невыясненного вида (у нас он назывался Суслик, и не исключено, что таковым и являлся). Это было хладнокровное и мудрое существо, которое каким-то образом сумело наладить со взбалмошным щенком приличные, хотя и не теплые отношения. Во всяком случае, Кондрат не стремился загрызть своего подсвайного соседа. Однако постоянно пытался «повысить профиль» и поднять свой статус. Для этой цели время от времени он притаскивал к норе пожилого и сдержанного Суслика что-нибудь из домашнего обихода: старую Димкину майку или мочалку, завалившуюся за шкафчик и добытую им с поистине человеческим тщанием, – выкладывал на землю и вызывающе лаял: «А ну, выдь, жидовская морда, глянь – ты эдакое видывал?!» Вообще, с детства обнаружил уникальную, поистине мушкетерскую хвастливость.

Когда, украдкой сцапав упавшую на пол тряпочку для мытья посуды, Кондрат мчался под сваи соседнего каравана, Димка говорил: «Опять хлестаться перед Сусликом пошел».

Целыми днями он гонял кругами вокруг нашего асбестового жилища, молниеносно бросаясь в траву, отскакивая, рыча от восторга, поминутно пропадая из поля зрения, и тогда над холмами Самарии неслись, пугая пастухов-арабов, наши призывные вопли…

Так что детство его прошло на воле, среди долин и холмов, а дымы бедуинских костров из собачьей души, как ни старайся, не выветришь.

* * *

Но скоро мы променяли цыганскую жизнь в кибитке на мещанский удел: купили обычную квартиру в городке под Иерусалимом. Судьба вознесла нашего пса на немыслимую высоту – последний этаж, да и дом на самой вершине перевала. Войдя в пустую квартиру, первым делом мы поставили стул к огромному – во всю стену – венецианскому окну. Кондрат немедленно вскочил на него, встал на задние лапы, передними оперся о подоконник и залаял от ужаса: с такой точки обзора он землю еще не видел.

С тех пор прошло восемь лет. Стул этот и сейчас называется «капитанским мостиком», а сам Капитан Конрад проводит на нем изрядно свободного времени, бранясь на пробегающих по своим делам собак и сторожа приближение автобуса, в котором едет кто-то из домашних. Как матрос Колумбова корабля, он вглядывается в даль, на Масличную гору, поросшую старым Гефсиманским садом, а завидя кого-то из близких, принимается бешено молотить хвостом, как сигнальщик – флажками, словно открыл, наконец, открыл свою Америку!

* * *

Наверное, мне надо его описать. Ничего особенного этот пес из себя не представляет. Такой себе шерстистый господинчик некрупной комплекции, скорее белый, с черными свисающими ушами, аккуратно разделенными белым пробором, что делает его похожим на степенного приказчика большого магазина дамского белья. На спине тоже есть несколько больших черных пятен, хвост белый, энергичный, ответственный за все движения души. Закинут на спину полукольцом и наготове для самых непредвиденных нужд, как солдатская скатка. Вот, собственно, и весь Кондрат. Не бог весть что, но длинная взъерошенная морда и черные глаза, саркастически глядящие сквозь лохмы казацкого чуба, изумительно человекоподобны.

* * *

Зимами он лохмат и неприбран, как художник-абстракционист, поскольку не допускает всяких дамских глупостей вроде расчесывания шерсти. С наступлением жары – кардинально меняет облик. Я сама стригу его со страшным риском поссориться навек. Он огрызается, рвется убежать, вертится, пытаясь цапнуть меня за руку для острастки. Я с ножницами прыгаю вокруг него, как пикадор вокруг разъяренного быка, отхватывая то тут, то там спутанный клок. После окончания экзекуции он превращается в совсем уж несерьезную собачонку с лохматой головой и юрким нежно-шелковистым тельцем. Не жених, нет. Даже и описать невозможно – кто это такой. Однако опасность подцепить клеща резко снижается. Да и жара не так допекает. А красота – она ведь дело наживное…

Тем более что главное, оно известно, – красота души.

Восемь лет я наблюдаю эту независимую и склочную натуру и – не скрою – в иные моменты судьбы очень бы хотела позаимствовать кое-что из характера моего пса.

Во-первых, он неподкупен. Чужого ему не надо, а свое не отдаст никому.

Наш Кондрат вообще – мужичок имущественный. Любит, чтоб под его мохнатым боком «имелась вещь»: старый носок, ношеный Евин свитер, нуждающийся в стирке, или кухонный фартук, который я уже несколько месяцев считала запропастившимся, а он вон где – у Кондрата под брюхом. Сторож своему хозяйству он лютый. Не только забрать, а и мимо пройти не советую. Из самых глубин собачьего естества вы вдруг слышите тихий опасный рокот, похожий на слабое урчание грозы или хриплый гул далекой конницы.

Впрочем, полное отсутствие врагов, покусителей, да просто зрителей его расхолаживает. И если у него настроение сразиться с кем-нибудь и показать не важно кому кузькину мать, он прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чем не подозревая и мирно попивая чай или что-там-еще (так, пружиня на носках сапожек и зыркая по сторонам, ковбой заходит в незнакомый паб), и выкладывает добычу прямо вам под ноги. Морда при этом уже разбойничья и провокационная: «А ну, давай, сунься!»

И правда, если вам придет в голову подразнить его, – например, сделать вид, что протягиваете руку за его кровным, трудом и потом нажитым имуществом, – ох какой шквал проклятий, угроз, бандитских наскоков… При этом хвост его молотит бешеную жигу, глаза горят, мохнатое мускулистое тельце извивается, грудью припадая к полу, пружинно вздымается зад. И так до изнеможения, до радостно оскаленной, рывками дышащей пасти, застывшего хохота на мохнатой физии… Он счастлив: боевой конь, тигр, бешеный арап, зверюга проклятая, – все это, как вы понимаете, доводят до его сведения потом, когда, распростершись мохнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом. И это поистине блаженные минуты нашего семейного счастья…

* * *

Однако нельзя сказать, что Кондрат счастлив в личной жизни. Как-то так получилось, что он холост. Мы поначалу истово искали ему возлюбленную,

давали брачные объявления… все тщетно. Потом уж вроде подбирались какие-то партии, не скажу, что выгодные или достойные по положению в обществе, – так, мезальянс все-таки.

У него, впрочем, есть некий заменитель супружеских отношений. Я даже не знаю, как это поделикатней сказать: это два больших домашних тапочка, сделанных в виде плюшевых зайцев, с розовыми пошлыми мордами и белыми ушами.

Как праотец наш Авраам, Кондрат имеет двух жен… Интересно строятся эти отношения – как в гареме, у султана с наложницами: когда на него находит интимное настроение, весь пыл души и чресел он посвящает только одной из своих плюшевых гурий, не обращая внимания на происходящее вокруг. При этом – раскован, упоен, влюблен, бесстыден, как восточный сатрап…

Удовлетворив любовный жар, он разом из галантного поэта-воздыхателя превращается в полную противоположность: в этакого слободского хулигана, который, сильно выпив, возвращается домой из кабака. Что нужно такому мужику? Поучить жену, конечно. Крепко поучить ее, дуру. И вот Кондрат хватает одну из своих возлюбленных зубами за заячьи уши и начинает нещадно трепать, совсем уж впадая в пьяный раж, подвывая и ухая, так что от барышни лишь клочки летят по закоулочкам.

Мы пытаемся урезонить его разными осуждающими возгласами, вроде: «Сударь, вы почто дамочку обижаете?»

Иногда приходится даже отнимать у него несчастную, вот как соседи отбивают у слободского хулигана его воющую простоволосую бабу…

Но бывают и у него высокие минуты блаженного семейного покоя. И точно как султан в гареме возлежит на подушках, покуривая кальян и глядя на своих танцующих наложниц, – а вокруг возлежат жены, старшие, младшие и промежуточные… так же и Кондрат: подгребет к себе обеих, положит свою продувную морду между ними на какой-нибудь украденный им носок и тихо дремлет, бестия… Хотела бы я в эти минуты заглянуть в его мечты…

* * *

Утро начинается с того, что, учуяв вялое пробуждение мизинца на вашей левой ноге, некто лохматый и нахрапистый вспрыгивает на постель и доброжелательно, но твердо утверждается передними лапами на вашей груди. Вы, конечно, вольны зажмурить глаза, не дышать, не двигаться – словом, прибегнуть ко всем этим дешевым трюкам – все напрасно: пробил час, а именно шесть склянок, когда спать дальше вам просто не позволят: будут лезть мокрым носом в ваше лицо, старательно его облизывая и норовя целовать – тьфу! – прямо в губы.

Можно еще потянуть время, умиротворяя этого типа почесыванием брюха, – он разваливается рядом, милостиво подставляя телеса для ласк, но как только ваша засыпающая рука вяло откинется, требовательной лапой он призовет вас к порядку. Так что дешевле уж не тянуть, а сразу выйти на прогулку.

И вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в штанинах, с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем более что один кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй куда-то уволок и яростно треплет, рыча и скалясь в экстазе.

А на улице вообще-то дождь, туман, хмарь и морось. Ваш ржавый позвоночник отказывается держать спину, ноги деревянные, руки ватные, глаза не открываются. Вы и так старый больной человек, а эта собачья сволочь еще цинично насмехается, продлевая удовольствие ожидания прогулки. Скачет по комнатам с одной из двух своих меховых блядей в зубах и азартно ее мутузит. Уже стоя перед дверью в куртке, вы призывно позвякиваете ошейником и поводком.

– Так ты не идешь гулять, сволочь собачья, паскудник, проходимец, холера лохматая?! Вот я сама ухожу, все, до свиданья, я пошла!

Этот трюк безотказен. При щелчке проворачиваемого в замке ключа мой пес немедленно бросает возлюбленную валяться где попало и мчится ко мне – подставлять шею под ненавистный ошейник.

Он сволакивает меня с четвертого этажа, и вот уже мы несемся над обрывом, он – хрипя и натягивая поводок, я – поминая страшную казнь колесованием, несемся вдоль каких-то кустов и гнущихся под ветром сосен, мимо смотровой площадки, домов, заборов… Мчатся тучи, вьются тучи, дождь припускает уже в

полную свою волю, и я ругаюсь вслух и вслух же – благо никого вокруг нет – спрашиваю себя: за что мне это ежеутреннее наказание?

* * *

Есть у него постыдная страсть – обожает носки, желательно «второй свежести». Отплясывая вокруг вернувшегося домой отца семейства, ждет, подстерегает это усталое движение скатывания, стаскивания с ноги носка. Вот оно, охотничье мгновение: хищный бросок! перехват жертвы! С носком в зубах он скрывается под стулом или столом. Начинаются долгие и сложные отношения с добычей. С полчаса, держа между лапами трофей, он молча зловеще выглядывает из-под казачьего чуба. Внимания требует, ревности, зависти, попыток напасть и ограбить. Иногда мы не реагируем на его рокочущие провокации, но чаще – уж больно забавен, бандитка лохматый, – вступаем в навязанные им отношения. И тогда-то он показывает всем кузькину мать! Вот тогда он – имущественник, защитник добычи, корсар, батька атаман!

Хвост при этом ходит ходуном. Он жаждет сразиться.

Тут мы придумываем разные мизансцены. Димка вкрадчиво тянет руку к скомканной добыче… Боря говорит: «Красавчик, угостите носочком!»

На эти наглые притязания он отвечает яростным и даже истеричным отпором.

* * *

Но чаще, чем игры, он требует любви. Немедленного ее подтверждения. Ласкательные клички, которыми я его называю, зависят от его поведения в тот момент и от моего настроения. Все превосходные степени пущены в ход: собачка моя первостатейная, моя высоконравственная животина, мой грандиозный пес, невероятная моя псина, легендарный маршал Кондрашук, приснопамятный собачий гражданин, присяжный поверенный Кондратенков… и т. д.

Когда я заговариваю с ним, он склоняет голову набок, наставляет уши и прислушивается: что там она несет, эта женщина, есть ли хоть ничтожная

польза в ее ахинее? Разумеется, он понимает все: интонации, намерения, много разнообразных слов. Сидя в моих объятиях, умеет выждать паузу в потоке нежностей и поощрительно лизнуть меня точно в нос: «Продолжай, я слушаю». Когда надоедает сюсюкать, разевает пасть и бесцеремонно, с подвизгиванием, зевает: «Ну, будет тебе чепуху молоть!»

Ко многим словам относится подозрительно.

Взять, например, богатое слово «собака». Известно, что это такое. Это он сам в разные минуты жизни – теплые, родственные, счастливые и нежные, например: «Собака, я преклоняюсь перед вашим умом!», или «Позвольте же по-человечески обнять вас, собака!», или (в драматические моменты выяснения отношений): «Ты зачем это сделал, собака подлючая, а?!»

Но у в общем-то родного слова «собака» есть еще другой, отчужденный смысл – когда им определяют других. Например: «Нет, туда мы не пойдем, ты же знаешь, там гуляют большие собаки».

Вообще мне интересно: как он разбирается со всем многообразием своих имен, которых у него много, как у египетского божества? С другой стороны, и у меня две клички – мама и Дина.

И на обе я отзываюсь.

Но есть слова, исполненные могучего, сакрального смысла, понятия, у которых масса оттенков: «гулять» и «кушать».

Узнает он их еще до произнесения, угадывает по выражению лица, что вот сейчас… вот-вот… Хвост ликует, трепещет, бьется…

– Ну что? – строго спрашиваю я, делая вид, что сержусь и ругать сейчас стану нещадно, что ни о какой прогулке и речи быть не может. Но его не обманешь. Страстно, напряженно он уставится на губы, окаменел, ждет… А хвост неистовствует.

– Что ж, ты небось думаешь, подлец, бесстыжая твоя рожа, что вот я сейчас все брошу… – грозно выкатив глаза, рычу я, но хвост бьется, бьется, глаза горят, – и

выйду с тобой… ГУ?!. ГУ?!. (чудовищное напряжение, нос трепещет) Гу-у-у?! (хвост – пропеллер) ГУ-ЛЯ-А-АТЬ?!

Ох, какой прыжок, какое пружинное глубинное ликование, с каким бешеным восторгом он хватает любую подвернувшуюся вещь – чей-то тапочек, туфель, носок – и мчится по квартире с напором, достойным мустанга в прерии!

Когда неподалеку какая-нибудь сучка начинает течь, Кондрат безумеет, рвется прочь, пытается расшибить дверь, стонет, коварно затаившись, ждет у дверей, валяясь якобы без всяких намерений… Но стоит входящему или выходящему зазеваться в дверях, пес, угрем обвивая ноги, прыскает вниз по лестнице и – ищи-свищи героя-любовника! Можно, конечно, броситься за ним, взывая к его совести и чести. Можно даже исторгнуть из груди сдавленный вопль – он, пожалуй, притормозит на лестничной площадке, оглянется на тебя с отчужденным видом, морда при этом имеет выражение: «С каких это пор мы с вами на «ты»?»… и бросится неумолимо прочь. Бежит по следу благоуханной суки с одержимостью безумного корсара.

Возвращается, в зависимости от накала страсти, через час или два. Но несколько раз пропадал часа на три-четыре, ввергая всю семью в панику…

Возвращается так же молча, крадучись, так же извиваясь всем телом, но с совершенно другим выражением на морде: «Виноват, виноват! Вот такой я гад, что поделаешь!»

* * *

Одного мы его гулять не отпускаем. Во-первых, все время приходится помнить о злодее с машиной, ловце собачьих душ, во-вторых, Кондрату, с его поистине собачьим характером, недолго и в тюрьму угодить. Бывали случаи. Например, пес моего приятеля, Шони, настоящий рецидивист: трижды сидел, и все за дело.

* * *

Помнится, впервые о псах-зэках я услышала от писательницы Миры Блинковой. Узнав, что мы обзавелись четвероногим ребенком, Мира сказала:

– У нас тоже много лет была собака, пойнтер, – милый, ласковый пес… Все понимал. Буквально: понимал человеческую речь, малейшие ее оттенки, сложнейшие интонации. Однажды, когда у нас сидели гости, я кому-то из них сказала, даже не глядя на собаку: «Наш Рики – чудесный, деликатнейший пес…» – он подошел и поцеловал мне руку… Потом его посадили – по ложному доносу… Но поскольку у Нины были связи, она добилась свиданий и передач. За хорошее поведение его выпустили на волю досрочно… Что вы так странно смотрите на меня?..

– Простите, Мира, – осторожно подбирая слова, проговорила я. – Очевидно, я задумалась и потеряла нить разговора. О ком это вы рассказывали, кого посадили?

– Рики, нашего кобелька.

С моей стороны последовала долгая напряженная пауза.

– Ах да, вы еще не знаете, – сказала моя собеседница спокойно, – что Израиль отличается от прочих стран двумя институциями: кибуцами и собачьими тюрьмами…

– Вы шутите! – воскликнула я.

– Да, да, любая сволочь может засадить в тюрьму абсолютно порядочного пса. Достаточно написать заявление в полицию. В случае с нашим Рики: Нина возвращалась с ним с прогулки, и в лифт вошел сосед, какой-то говенный менеджер говенной страховой компании. Рики, в знак дружеского расположения, поднялся на задние лапы, а передние положил тому на плечи и облизал его физиономию. Так этот болван от страха чуть в штаны не наделал. В результате – донос на честного, милого, интеллигентного пса, и приговор – тюремная решетка.

– Но ведь это произвол!

– Конечно, – горько подтвердила Мира, – а разве вы еще не поняли, что приехали в страну, где царит страшный и повсеместный произвол?

Я представила себе этот разговор на эту конкретно тему где-нибудь на московской кухне в советское время, годах эдак… да в каких угодно годах, даже и в недавних.

* * *

Когда Кондрат хочет гулять или есть – то есть обуреваем какой-нибудь страшной надобностью, – он нахрапист, бесстыден, прямолинеен и дышит бурно, как герой-любовник. В народе про таких говорят: «Ну, этот завсегда своего добьется!»

При этом он дьявольски умен, хитер, как отец инквизитор, и наблюдателен. Если б он мог говорить, я убеждена, что лучшего собеседника мне не найти. К тому же он обладает немалым житейским опытом. Например, знает, что, если с самого утра я ни с того ни с сего становлюсь мыть посуду, это верный признак, что бабушка – бабуля! – уже выехала откуда-то оттуда, где таинственно обитает, когда исчезает из нашего дома. Это значит, что пора вспрыгивать на капитанский мостик и ждать, когда автобус завернет на нашу улицу. И он стоит на задних лапах, передними опершись о подоконник, и – ждет. И вот его хвост оживает, вначале приветливо помахивает, но по мере приближения бабули к подъезду увеличивает обороты. Несколько секунд он еще стоит, весь дрожа от радостного напряжения, дожидаясь, когда его главная приятельница подойдет к парадному, вот она скрылась из виду… тогда он валится со стула боком – так пловцы уходят с вышки в воду – мчится к двери и с размаху колотится в нее лапами, всем телом, оглушительно причитая и пристанывая: «Ну! Ну! Ну же!!! Сколько можно ждать!!! Она поднимается, поднимается, вот ее шаги!!! Открывайте же, гады, убийцы, тюремщики!!!»

Вы скажете – нетрудно любить человека, который всегда принесет то котлетку, то кусок вчерашнего пирога, а то и куриную ножку. Да не в этом же дело, уверяю вас! И эти стоны преданной любви, и плач, и чуткое вскакивание на стул при шуме подъезжающего автобуса… не из-за куриной же ноги. Нет, нет. Нет. «А что же?» – спросите вы. И я отвечу: «Душевная приязнь». Иначе как объяснить ошалелые прыжки Кондрата и визг при редких появлениях нашего друга Мишки Моргенштерна? Уж Мишка-то никаких котлет не приносит, Мишка наоборот – сам отнимет у собаки последнюю котлету под рюмочку спиртного. Но Мишка стоял у колыбели этого наглого пса, трепал его по загривку, целовал прямо в морду, а такие минуты не забываются. И вновь скажу я вам: душевная приязнь, вот что

это, и четкое различение людей на аристократов духа, то есть собачников, и прочую шушеру. А Мишка-то, Моргенштерн, он самый что ни на есть аристократ духа. За ним по всей его жизни трусили стаи собак. У него и сейчас живут три пса: Маня, Бяка и Арчик. Представляю, что чувствует Кондрат, втягивая своим трепещущим кожаным носом сладостные флюиды запахов, исходящих от Мишкиной одежды, рук, бороды и усов…

* * *

В экстремальные моменты семейной жизни он куда-то девается, прячется, тушуется. Я в этом усматриваю особую собачью деликатность. Взять недавнюю воробьиную ночь. Часу во втором Боря наведался в туалет и, когда собирался выйти, обнаружил, что замок сломан. Сначала тихонько пытался что-то там крутить, боясь разбудить всю семью. Я проснулась от назойливого звука все время проворачивающегося ключа, как будто кто-то пытался влезть в квартиру. Потом поняла, вскочила, и мы – шепотом переговариваясь по обе стороны двери – пытались столовым ножом отжать заклинившую «собачку» замка. Проснулись дети. Сначала вышла из своей комнаты хмурая, заспанная Ева в пижаме, сказала: «Да чего там церемониться! Папа, заберись с ногами на унитаз, я выбью дверь».

Мы все-таки склонялись к мирному решению вопроса. Потом проснулся Димка и, как всегда, деятельно стал мешать. Мы втроем – я и дети – толпились в коридоре, папа страдал запертый. Кондрата вроде как не было видно… Наконец минут через двадцать замок был побежден, «собачка» выпала под нажимом напильника, и отец был освобожден из туалетного плена.

И вот, когда уже все улеглись, на нашу кровать вдруг вспрыгнул Кондрат и с непередаваемым радостным пылом, с каким обычно он встречает нас после отъезда, бросился целовать Борю. Нежность, счастье и восторг никак не давали ему успокоиться… Очевидно, он понял, что Боря попал в какую-то передрягу, если вся семья крутилась возле двери, за которой томился хозяин. Но вот наконец кончилось заточение, и он приветствует освобожденного даже более пылко, чем если б тот откуда-нибудь приехал.

Так встречают отца, отбывшего тюремный срок.

* * *

В его, по сути, героическом характере имеется некая постыдная прореха. Неловко говорить, но придется. Я имею в виду его мистический страх перед салютом. Да-да, праздничный салют – вот слабое место в душе бесстрашного пса.

Это стыдно. Ой как стыдно – бояться этих взрывающихся в небе разноцветных фонтанов и брызг, этих искр по всему небу… Но он ничего с собой поделать не может. Так бывает – у очень храброго человека, например, бывает патологическая боязнь высоты.

Он дрожит всем телом и нигде не находит себе места. При очередном раскатистом взрыве он вздрагивает, прижимает уши и жалко трусит, поджав хвост, из одной комнаты в другую… Забивается в туалет… Да и для нас – какая уж там радость и веселье, какое там ликование, когда любимое существо абсолютно, как говорят китайцы, теряет лицо, трепещет, мечется в безумии по квартире, то запрыгивая в ванну, то залезая под кресла… Сердце разрывается от жалости… Я хватаю его на руки. Обнимаю, прижимаю к себе, глажу, бормочу ласково: «Ну что ты, милый, это только салют, это ничего, ничего…» – он в отчаянии вырывается, продолжая трястись мелкой дрожью, мечется по дому и ищет пятый угол.

* * *

(Я упоминаю о его слабостях отнюдь не для того, чтобы опорочить одно из самых бескорыстных и благородных существ, когда-либо встретившихся на моем пути, но если уж говорить, то говорить начистоту. Справедливость алчет правды.)

* * *

Еще одно занятие, чрезвычайно ответственное, – копать. Раскапывать передними лапами: одеяло, брошенный на кресло свитер, любую тряпку вообще, а если ее нет, то яростно раскапывается пол. При этом передние лапы двигаются как ноги танцующего чарльстон. Закончив разгребать таким образом умозрительную яму в полу, он начинает медленно и задумчиво вращаться вокруг собственного хвоста, пока не укладывается на «раскопанное» место.

Стоит ли говорить, что в его табели о рангах всяк домашний стоит на своем, только ему принадлежащем, месте. Но и свои, особые, отношения у Кондрата с гостями, которых он, кажется, подразделяет на виды, семейства, группы и подгруппы. К тому же он явно делит свою жизнь на служебную и частную. Когда, первостатейно обложив оглушительным лаем очередного гостя, то есть проявив положенное представительство, он смиряется с временным присутствием в доме чужого, он как бы снимает мундир, расслабляет галстук и облачается в домашнюю куртку. Тем более что гости перешли в кухню и сидят за столом, над которым, как водоросли, колышутся густые запахи мяса, колбас, салатов и, кстати, квашеной капустки, которой Кондрат тоже не прочь отдать дань уважения.

Тут он ведет себя в точности как хитрый ребенок, отлично понимающий, что послабления следует ждать совсем не от родителей, а от душки гостя.

Тактика проста. Вначале он садится у ног приступившего к трапезе голодного гостя и минуты три вообще не дает о себе знать. Этюд под условным названием «А я тут по делу пробегал, дай, думаю, взгляну – что дают…». Когда гость заморил самого назойливого первого червячка и расселся поудобнее, Кондрат приподнимается, присаживается поближе, складывает физиономию в умильно-скромное любование и, склонив набок башку, несколько минут сидит довольно кротко с выражением скорее приглашающим – «Угостите собачку», – чем требовательным.

Если гость не дурак и слабину не дает, Кондрат, сидя на заднице, протягивает лапу и треплет гостя по коленке – дай, мол, дядя, не жадись… Как правило, этот пугающе человеческий жест приводит гостя в смятение.

– Чего тебе, песик? – спрашивает он, опасливо косясь на Кондрата, настойчиво глядящего прямо в глаза нахалу, так вольно сидящему за семейным столом. – Дать ему кусочек? – неуверенно спрашивает меня гость.

– Ни в коем случае! – говорю я. – Кондрат! А ну, отвали! Щас получишь раза! Немедленно отстань от Саши (Иры, Маши, Игоря)!

Несколько секунд Кондрат молча пережидает, провожая тяжелым взглядом каждый кусок, который гость отправляет в рот. На морде выражение сардоническое и высокомерное, что-то вроде: «А харя твоя не треснет?» Потом,

словно нехотя, поднимается опять на задние лапы и на этот раз уже дотягивается передней лапой до руки с вилкой. И требовательно треплет эту руку. На этот раз подтекст: «Не зарывайся, дядя! Не кусочничай. Угости честную собаку».

Тут его пора нещадно гнать в три шеи, пока не наступил следующий этап: хамское короткое взлаивание абсолютно нецензурного содержания.

Если же и этот этап упущен, остается только одно: накормить его до отвалу, к чертовой матери.

* * *

За ночь он, как отъявленный ловелас, успевает поваляться на всех постелях в доме. Начинает с Евы. Она ложится раньше всех, потому как уходит раньше всех в школу. Зайдешь к ней в комнату перед сном – Кондрат сонно поднимает голову с ее кровати: ну, чего ты беспокоишься, я же здесь. Как только я укладываюсь под одеяло, он вскакивает ко мне на постель и скромно примащивается в ногах, якобы – я тут с краю, незаметно. Я вас не обременю.

Уже часа через полтора я просыпаюсь от храпа где-то около моего плеча. Точно: Кондрат покинул свое кухаркино место и развалился рядом, прямо в барской опочивальне, лохматая башка на подушке, рядом с моей, и храпит, как намаявшийся за день грузчик. Когда я его спихиваю, он огрызается и, ворча, перебирается к Борису. Но тот спит беспокойно, ворочается, просыпается то и дело, встает пить и вообще – пассажир беспокойный. Тогда раздраженный, невыспавшийся Кондрат бежит к Димке. Это его последнее рассветное прибежище. Во-первых, Димка спит как убитый, на нем можно топтаться, плясать, храпеть ему в оба уха, бесцеремонно спихивать с места. Во-вторых, у него широченная тахта.

Утром можно видеть такую картину: раскинувшись в одинаковых позах, эти двое дрыхнут, как пожарники, всю ночь таскавшие ведра с водой.

Вообще, поразительны его позы, в которых он копирует хозяев. В жестах, привычках и манерах очеловечился до безобразия. Например, полулежит на диване в совершенно человечьей позе, опершись спиной на подушки, передние

лапы расслабленно покоятся на брюхе, и кажется, будь на них пальцы, он бы ими почесывал поросшую нежной белой шерстью грудку. Если б мне впервые показали такого где-нибудь в чужом доме, я бы испугалась. Мне и сейчас иногда становится не по себе, когда мы с ним одни в квартире и он вдруг подходит к рабочему моему креслу, где я сижу за компьютером, и, приподнявшись на задних лапах, кладет переднюю мне на колено.

– Что, старичок?.. – рассеянно спрашиваю я, не отрывая взгляда от экрана, зная, что он накормлен и нагулян, то есть не одержим в данный момент никакой срочной нуждой.

Он молчит, не снимая лапы с моего колена. Я не глядя опускаю руку и треплю его по лохматой мягкой башке, глажу, бормочу что-то нежное.

Наконец оборачиваюсь.

Он смотрит на меня ожидающим, внимательным, абсолютно человечьим взглядом. Сейчас что-то скажет, неотвратимо понимаю я, заглядывая в эти проницательные глаза. И в тот момент, когда холодок продирает меня по коже, он вдруг отводит взгляд и уютным, тоже – человечьим, движением мягко кладет мне голову на колено… Ему ничего не нужно. Он пришел напомнить о своей любви и потребовать подтверждения моей. И я подтверждаю: беру его, как ребенка, на колени, объясняю страстным шепотом, что он самый высоконравственный, ослепительный, мудрейший и качественно недосягаемый пес. И некоторое время он, как ребенок, сидит у меня на коленях, задумчиво глядя на наше с ним туманное отражение в экране компьютера.

* * *

У нас, конечно, и враги имеются. Например, черный дог в доме напротив. Этот гладкий молодчик полагает себя властелином мира. Конечно, у него есть балкон, с высоты которого он обозревает местность и делает вид, что контролирует ее. На самом деле никто, конечно, не наделял его такими полномочиями. Всем известно, кто хозяин данной территории. Кондрат, разумеется. Капитан Конрад, лохматая доблесть, ни у кого сомнений не вызывающая. И мы не позволим всяким там наглецам демонстрировать… то есть регулярно не позволяем часов с пяти утра, когда того выпускают на балкон – проветриться и он, возвышаясь над перилами, оглашает окрестности первым

предупредительным угрожающим рыком.

Ну это уж дудки! Этого ему уж никто из порядочных особ спускать не намерен! Кондрат взрывается ответной утроенной яростью, непонятно – откуда такая громогласность в этом небольшом, в сущности, субъекте… Повторяю – в пять утра.

– Кондрат! – Я шлю ему вдогонку сонный вопль, исполненный отчаяния.

– Нас выселят, – бормочет Борис, просыпаясь, – в конце концов соседи позвонят в полицию, и будут правы.

Спящий в большой комнате Димка подбирает с пола тапок и, рискуя попасть в окно, швыряет в Кондрата.

Все тщетно. Разве станет отважный обращать внимание на летящую в его сторону гранату? Он стоит на задних лапах на своем капитанском мостике, опершись о подоконник передними. Хвост – как бешено вертящийся штурвал. Дрожа от ненависти, воинственного возбуждения и невозможности сцепиться в честной рукопашной, противники со своих позиций поливают друг друга шквалом оглушительных оскорблений.

Отношения с остальными представителями собачьего рода немногим лучше. Все гордость, гордость проклятая. Врожденное высокомерие и нежелание подпустить к себе всяких там безродных на близкое расстояние. Если на прогулке к нему подбегает собачонка и приветливо петляет вокруг, обнюхивая его хвост, Кондрат встает как вкопанный, напряженно и холодно уставившись на заискивающую шушеру.

Никакой собачьей фамильярности, Боже упаси. Знаем мы этих шавок, мизераблей, побирушек, приживалов. Не наша это компания, не наше, что ни говорите, сословие.

* * *

Когда, отгуляв, мы завершаем круг, он садится и смотрит на Иерусалим.

Всегда в одном и том же месте – на площадке, куда обычно привозят туристов. Над этой странной его привычкой я размышляю восемь лет. Почему он с таким упрямым постоянством созерцает этот вид, неужели из соображений эстетических? Именно в такие моменты сильнее всего мне хочется проникнуть в его мысли…

Сидит как вкопанный. Наслаждается. Иногда уже и мне надоест, потянешь его – ну, хватит, мол, Кондраша, идем домой… – он упрямо дернет башкой, не оборачиваясь. Упрется, сидит. Пока не насмотрится. Потом поднимается и трусит к подъезду, преисполненный достоинства.

* * *

Мой возлюбленный пес! Когда вот так мы стоим с тобой, в молчаливой задумчивости, на высоком гребне нашего перевала, под персиковыми облаками нового утра, – что видишь ты там, на холмах Иерусалима? Чем ты заворожен? Что за собачий тебе интерес в этих колокольнях, и башнях, и куполах, в этих старых садах и дорогах? Или твоя преданность хозяйке достигает того высочайшего предела, когда возвышенные чувства сливаются в единой вибрации духа в тех горних краях, где нет уже ни эллина, ни иудея, ни пса, ни человека, а есть только сверкающая животная радость бытия, которую все божьи твари – и я, и ты – чувствуют равно?

Нет такой преданности в человечьем мире.

Проклятая моя трусливая страсть заглядывать за толщу еще не прочитанных страниц уже нашептывает мне о том времени, когда тебя не будет рядом.

Возлюбленный мой пес, не оставляй меня, следуй за мной и дальше, дальше – за ту черту, где мы когда-нибудь снова с тобою будем любоваться на вечных холмах куполами и башнями другого уже, небесного Иерусалима…

2004

Время соловья

Название улицы, на которой стоит наш дом, в переводе с иврита звучит возвышенно и даже претенциозно: «Время соловья». Но это вполне определенный соловей – муэдзин мечети соседней, через ущелье, арабской деревни Аль-Азария, где когда-то Иисус воскрешал безнадежно умершего Лазаря…

Ежедневно, часа в четыре утра, гнусавым рыком через громкоговоритель, установленный на куполе минарета, он окликает правоверных.

Когда замирает его грозный речитатив, со стороны бедуинского становища доносится довольно слаженный хор голосов проснувшихся ослов, собак, петухов и овец. Когда и эти голоса тонут в облачке отдаленного шума дороги, внизу, в тишине над черепичными крышами спящего городка, проносится панический вопль павлина…

Чуть позже с околицы нашей катящейся к лесу улицы мягким кошачьим шагом поднимается юноша-бедуин. Его драные кроссовки бесшумны, и сам он гибок и проворен, как ящерица. Возможно, у него есть веские причины обходить блокпост на въезде в город, где под большим щитом «Наш город благословляет каждого, кто во вратах его!» на пластиковых стульях сидят трое подобных ему парнишек, только в форме солдат израильской армии, жуют сэндвичи и пьют утренний кофе, наливая его из термоса в одноразовые стаканы. Вот они-то и благословляют каждого, кто во вратах, рассеянно при этом проверяя.

Так же, как охранник-эфиоп проверяет каждого на входе в городской «каньон» – огромный торговый центр. Ощупывая сумки не лишенным эротики, взвешивающим движением ладони, словно благословляющим урожай изобильной груди, он дежурно спрашивает:

– Пистолет есть?

И когда вы так же дежурно отвечаете: «Нет», – наклоняется и заговорщически произносит:

– Так купи два!

Улыбчивый мир нашего городка я постигаю в утренних прогулках с моим псом Кондратом.

Пять тридцать утра… Молочная нега жемчужных далей обволакивает окрестные холмы с прозрачными рощицами на загривках.

Воздух еще продут ветерком и со дна ущелья воскуряет ароматы шалфея, тысячелистника, лаванды, олив на склонах и чуть саднящую нёбо гарь очередного пожарища очередной арабской свалки на соседней горе.

Умолк тягучий стон муэдзина, пропели петухи и откричал осел.

Павлин своим предобморочным криком испугал почтальона, фасующего по ящикам рекламки, коммунальные счета и уведомления об уплате штрафов.

Это наше время.

Уже дают восход солнца. Билеты у нас – в первом ряду партера. У нас и у пастушьих бедуинских собак, забредающих полакомиться забытым куском сэндвича на скамейке.

За частоколом бочонков солнечных бойлеров и остроконечных туй, за карминной коростой черепицы, за псевдоримской аркадой «каньона», из Соленого, невидимого с нашей горы моря возникает – прорезается – огненная лысина солнца. И неправдоподобно, мгновенно (в акушерстве это, кажется, называется «стремительные роды») оно впрыгивает на небосклон – оп-ля! – с ловкостью карточного шулера меняя цвет с пунцового на оранжевый. И, притормозив для приличия над «каньоном», с медленной истомой начинает раскочегаривать свое людоедское брюхо.

Мы поднимаемся по нашей улице к маленькой частной синагоге «Шатер Габриэля и Рафаэля» с узкими, как закладки, высокими венецианскими окнами и еще запертыми дверями, огибаем зеленую лужайку и трусим по заветным

местам, дабы отметить членство в открытом Собачьем клубе, принимающем любого в свои демократические ряды.

Маршрутов у нас немало – три или четыре. Собственно, маршрут у нас один, потому что улицы на этой горе закольцованы и наброшены на нее, как обручи на бочку, дома поднимаются террасами, и куда ни пойдешь, выйдешь все туда же, только с разных сторон.

От синагоги можно взять правее – дорожка пойдет над обрывом, огражденным невысоким забором; внизу будут реветь грузовики, вжикать легковушки и мотоциклы, по ту сторону ущелья громоздятся, поставленные торопливо впрок, дома наших арабских соседей, с черными провалами зияющих на многие годы окон. Вниз по склону той же горы древесно-жестяными наростами шелушатся чешуйки бедуинского стана.

Слева тянется полукруг домов улицы Райские плоды, террасами двориков вгрызающейся в гору.

Один из них в нашей семье носит название «Дом Голого». Мы так и говорим: «Да это же недалеко, возле Дома Голого…» или: «Давай срежем угол, мимо Дома Голого».

История этого топографического названия незамысловата: в один из жарких дней мы с Кондратом трусили себе рассветной улицей, думая каждый о своем. Вдруг в одном из окон взлетели с подвизгиванием автоматические жалюзи. Я обернулась. За стеклом большого, от пола до потолка, окна стоял обнаженный юноша. Сильно потягиваясь, он широко и сладко зевал, глядя вдаль, на Иерусалим. Затем перевел рассеянный взгляд вниз, на улицу, увидел нас с Кондратом и приветливо помахал рукой.

Помнится, в тот момент я живо представила, как бы в этой ситуации поступила средняя американка из городка на Среднем Западе: она бы выколотила из голых чресл своего соседа миллиона полтора долларов.

Но у нас здесь не Средний Запад. Возможно, этот парень – солдат, вернулся домой на субботу, накануне вволю нагулялся в городе, свалился спать под утро, а сейчас вскочил и сразу распахнул окно, не задумываясь о своем неофициальном виде.

Вы догадываетесь, что я сделала? Конечно, я помахала ему в ответ. И мы потрусили дальше, привычно завернув на улицу Багряная нить.

(Кому-то может показаться, что я выдумываю названия улиц или приукрашиваю существующие. Ничуть не бывало! Да и странно было бы предположить, что народ, сызмальства вскормленный поэтикой библейских текстов, может согласиться на какой-нибудь «Комсомольский тупик» или «Большевистский проезд». Поэтому прогулка по улицам нашего городка доставляет мне еще и медленное филологическое удовольствие: «Очи, возведенные к небесам»! «Яхонтовая площадь»! «Виноградная лоза»! «Дорога в Иудейской пустыне»!.. Целая россыпь «звучащих» улиц: «Арфа», «Скрипка», «Флейта», «Поющий рожок»!.. Не говоря уже о том, что главное шоссе, пересекающее весь город, называется Дорога к Храмовой горе и, что действительно интересно, – приведет-таки вас куда обещает!)

В этот соловьиный рассветный час по пути нам – по двое, по трое – встречаются бедуинки, бодро обходящие мусорные баки в поисках утиля. Как старательницы, критически разглядывая содержимое баков, они ворочают внутри палкой, почему-то отбрасывая одно тряпье и складывая другое аккуратной горкой на асфальте. Затем присаживаются на скамейки, достают термос с кофе, булки, намазанные хумусом, и горячо, деловито что-то обсуждают, жестикулируя и позвякивая многочисленными браслетами на руках…

Говорят, бедуинские женщины – такой обычай – все свое золото носят на себе: если муж уличает жену в измене, он выгоняет ее из дому, и она не имеет права взять с собой ничего, кроме того, что на ней надето.

Однажды на детской площадке возле дома я увидела старуху бедуинку, поджидающую кого-то из своих со старательской добычей. Она сидела на детских качелях, задумчиво раскачиваясь, отводя в сторону тощую, по локоть унизанную тусклым дутым золотом руку с дымящейся сигаретой, то вытягивая под прямым углом ноги в голубых шальварах, то по-девчоночьи их поджимая…

В нашей армии бедуины служат следопытами. Дети пустынных холмов, только они способны по брошенному окурку определить – сколько тот провалялся на земле, что за человек выкурил эту сигарету и в какую сторону направился после того, как бросил окурок. Они убеждены в том, что бедуины-то и есть хозяева

этой земли. «Ишмаэль уйдет… – говорят они, – Исраэль уйдет… А мы останемся…» Пока же израильская армия то и дело подбрасывает им списанные армейские палатки. В домах эти хозяева земли не живут, им сподручней в лачуге, слепленной из жестяных, неизвестно где добытых листов, из коробок, из дощатых ящиков. Впрочем, нередко в глубине штопаной армейской палатки, поставленной на краю огромного загона, мерцает голубым экраном телевизор, а у входа стоит новенький «Вольво».

Словом, бедуины загадочны, в отличие от арабов, которые – понятны.

С восходом солнца бедуины исчезают из городка.

Дважды в неделю на углу улицы Дочь Надива мы сталкиваемся с процессией: старый араб в резиновых сапогах бодрой походкой косца (только на плече у него не коса, а швабра с болтающимся на ней ведром), гонит перед собой четверых мальчиков от шести до десяти лет. Это бригада уборщиков нашей улицы – «Ибрагим и сыновья». И пока расторопные маленькие рабы драят парадные и поливают дворики, Ибрагим сидит на корточках под стеной, курит и поглядывает вокруг хозяйским глазом: наши соседи уверены, что настанет день и эти улицы перейдут в их пользование. Пока же можно получать настоящие деньги за глупое, придуманное евреями занятие – подметание улиц, – можно сидеть, курить, извлекая из этой жизни свой медленный кайф.

С Ибрагимом я иногда перекидываюсь двумя-тремя словами на иврите, которым он владеет, вернее, не владеет, примерно в той же степени, что и я.

– Вот думаю… – сказал он однажды. – Машину купить… или жену купить?

– Зачем тебе еще одна жена?

– Старая рожать перестала…

– А сколько у тебя детей, Ибрагим? – полюбопытствовала я.

– Семнадцать…

– Семнадцать… и тебе мало?!

Он помолчал, дотошно докурил до корешка сигарету, отшвырнул ее, сказал:

– Женщина должна приносить детей…

Но мы отвлеклись… Дальше, дальше! Вот на повороте к улице Берега ручья открывается магазин «Дешевейшие трое», сокращенно – «Дешевка».

Это очень дорогой магазин. В него допустимо сбегать, если вдруг перед субботой ты хватишься лука или моркови, а в «каньоне» в эти часы, как известно, столпотворение. В «каньон» и зайдешь-то не сразу. Необходимо набраться терпения, пригласительно раззявить сумку:

– Пистолет есть?

– Нет!

– Так купи себе два!

У раскрытых дверей «Дешевки» двое арабских рабочих разгружают сразу два минибуса: с молочными продуктами и булочными изделиями. Мы их гордо минуем, задерживаемся на верхней лужайке, играющей в нашем Собачьем клубе роль форума, где каждый может оставить свое мнение, и двигаемся наискосок дальше, где непременно путь нам перебегает одна знакомая личность. Мой пес, презирающий кошек, при виде этой странной длинноухой и бесхвостой особи останавливается, оглядывается и недоуменно на меня смотрит. «Тот еще типчик!» – говорит его брезгливая физиономия. Типчик действительно тот еще: робкий и наглый одновременно, этот Кролик – впечатление такое – живет сразу на обоих участках, разделенных кирпичной дорожкой. И, кажется, этим кичится. Он поджидает нас по утрам, а завидев, перебегает улицу перед нашими носами то справа налево, то слева направо, при этом по-хозяйски потрюхивая толстой задницей.

Наверху, на крутом гребне улицы, мы всегда ждем одной и той же сценки.

Меняется в ней только вид транспорта. Иногда это мотороллер, бывает, велосипед, раза два прямо на нас выезжала доверху груженная детская коляска. Но чаще это белый обшарпанный «вэн».

Вот он возникает на повороте, резко тормозит, из него выскакивает девочка-мальчик лет семнадцати, в повязанной на манер пиратов – закрывающей лоб – косынке, в коротких, ниже колен, штанах, в огромной майке, в теннисных тапочках. В руках у нее два небольших снаряда: плотно упакованные номера пятничной газеты «Маарив». Подбежав к палисаднику, она швыряет через забор один снаряд, затем, совершив полукруг метальщицы копья, пружиня на одной ноге и поджав другую, сильным посылом вбрасывает другой пакет на балкон второго этажа и, не останавливаясь ни на мгновение, отскакав по инерции два-три шага назад на одной ноге, бегом возвращается в машину, рвет с места и мчит по улице вниз…

И наконец мы спускаемся к парку, над которым полукругом возносятся дома с остроконечными крышами, снизу похожие на неприступные стены цитадели. Вот оттуда, с пологого склона горы, и слетает на черепицу нижней улицы потрясенный, страстный, ошалелый вопль павлина. Вопль ужаса потерявшей кошелек провинциальной дуры.

Небольшой участок каменистого склона один из жильцов превратил в маленький домашний зверинец. Высадил на нем апельсиновые и гранатовые деревца, кусты олеандров и бугенвиллей и заселил разнообразной домашней живностью: утками, курами, индюками. Кажется, у него и овца там есть, а возможно, и коза – снизу не видно. Но если удачно выбрать место обзора на зеленом косогоре и постоять там, заслоняя ладонью глаза от молочного утреннего солнца, можно увидеть павлина на фоне стены из иерусалимского камня. А если совсем повезет, можно застать момент горделивого представления, когда он разворачивает персидское опахало своего хвоста. Развернув его и постояв в оцепенении минуты две, как бы давая зрителям время упасть в обморок и благодарно прийти в себя, он приступает к спецэффектам: несколько раз, сильно встряхивая, прогоняет крупные волны света по радужным окам каждого пера, протрясает его, как хозяйка шаль, медленно поворачивает иссиня-зеленый сосуд тела с тонким горлышком и изящной, украшенной короной головкой, подставляя свое богатство лучам, после чего приспускает флаг, давая понять, как утомительно владение этим райским садом с восточных миниатюр.

Однажды я наблюдала, как он погнался за курицей – так хозяин лавки с проклятьями несется по торговым рядам вдогонку беспризорнику, стянувшему у него из-под носа орех или пряник. Хвост был развернут, как хоругвь, и все глазки на нем переблескивали фиолетово-синим, иззелена-желтым, пунцово-черным огнем…

По весне городок проходит все стадии театрального преображения. Первыми вступают средиземноморские акации, цветущие нежным, каким-то милосердно-сиреневым цветом. Целые улицы засажены у нас этими деревьями; на исходе апреля и весь май они сбрасывают цветы, как перья, по городу разносится сиреневая вьюга на хвосте весеннего ветра, и сиреневый мусор скапливается в углах дворов и подворотен – в нашем раю вообще довольно мусорно…

В мае же просыпаются розовые и белые олеандры, медленно приоткрывающие цветки, обрамляющие – над заборами – огромные изысканные кактусы, слепленные из больших колючих оладий.

Особый выход у бугенвиллей.

Нигде не встречала я такого разнообразия оттенков цветов бугенвиллей, как здесь. В Италии и Испании видела только чернильно-лиловые. Наши чародеи-садовники вытворяют с бугенвиллеей черт-те что! Алые, розовые, белые, палевые, бордовые и – особый изыск – декадентского солнечного цвета «само» кусты переплетаются с простонародно вишневыми в тесном надзаборном объятии, пышной цветной пеной выкипают из дворов на улицы, сбегают вниз по желтым и розовым стенам иерусалимского камня.

В середине же мая коротко вспыхивает пунцовыми пальчиками, растущими как бы из одной ладони, хрупкое экзотическое дерево на верхней лужайке. Недели две оно растерянно красуется перед грузчиками, затаскивающими в «Дешевку» картонные коробки с бутылками колы и пепси, и напоминает диковинную японскую принцессу на улице деревни Иваньково, густо застланной подсолнечной лузгой.

Кстати, подсолнухи у нас тоже растут.

Подобно вездесущим журналистам на кинофестивалях, наш весенний фестиваль сопровождают и комментируют независимые господа удоды, в черно-белых полосатых сюртуках, – гребенка на высокомерной голове в сочетании с длинным прямым клювом напоминают штопор. Прилетают они поодиночке, но однажды мы застали на лужайке трех таких оживленно беседующих господ. «Смотри, пресс-конференция…» – сказала я псу…

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dina-rubina/skvoz-setochku-shlyapy-sbornik-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить